Н. А. ТЭФФИ • ЗЕМНАЯ РАДУГА

Н. А. ТЭФФИ

ЗЕМНАЯ РАДУГА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

Земная радуга

Н. А. ТЭФФИ

ЗЕМНАЯ РАДУГА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1952

Printed in the United States of America

ПРЕДИСЛОВИЕ

Надежда Александровна Тэффи (рожд. Лохвицкая) принадлежит к числу наиболее известных писателей русской эмиграции двадцатых годов. Уроженка Петербурга (Ленинграда), дочь известного криминалиста и сестра поэтессы Мирры Лохвицкой, Н. А. Тэффи приобрела литературную известность еще в дореволюционной России, своей работой в «Сатириконе» и в «Русском Слове» Сытина. Во главе газеты стоял тогда Влас Дорошевич. Интересные подробности о начале литературной карьеры имеются в «Воспоминаниях» писательницы (Париж, 1931 г.). Редакция «Русского Слова» хотела сначала приспособить Н. А. Тэффи к писанию «злободневного фельетона». Но за нее заступился Дорошевич: «Оставьте ее в покое, пусть пишет о чем хочет и как хочет, — сказал он, прибавив: — Нельзя на арабском коне воду возить».

Некоторые читатели воспринимают Тэффи как писательницу-юмориста по преимуществу, которая зло, а иногда и беспощадно, высмеивает пороки и слабости эмиграции. Более верна оценка, данная писательнице покойным поэтом и редактором «Нового Журнала» М. О. Цетлиным. Цетлин не отрицает, конечно, юмористического таланта Тэффи, говоря, что «жизнь эмиграции без ее еженедельных фельетонов была бы беднее и скучнее». Эмиграция не обижается на ее шутки, любит Тэффи. Но лучшее в таланте Тэффи более

сложно, как это, впрочем, характерно для многих русских юмористов. За смехом Тэффи нередко скрывается не только серьезное, но и трагическое. Поэтому настоящий талант Тэффи полнее всего отражается в ее смешанных рассказах («И стало так», «Книга Июнь» и др.).

Предлагаемая вниманию читателей новая книга Тэффи, «Земная радуга», отражает все особенности ее таланта, начиная с улыбки и теплого юмора («Была война», «В Америку», «Кишмиш», «Памяти Антоши Чехонте») и кончая непримиримым разоблачением человеческой пошлости («Семейная поездка»). А рядом с юмористическими рассказами читатель найдет в этой книге немало образов, навеянных неподдельным трагизмом («Три жизни», «И времени не стало», «Слепая»).

Разнообразию тем соответствует разнообразие действующих лиц. Кто же, однако, главный лирический герой Тэффи? — Его нетрудно почувствовать: тысячи русских людей, начиная с самых заурядных, искавших только спокойного пристанища, и кончая цветом русской интеллигенции — учеными, писателями, художниками, артистами — вместе с Тэффи, совершили незабываемый «исход» из России вскоре после Октябрьской революции. И каждый из них — словом, взглядом, жестом — оставил свой след в творческой памяти писательницы. Каждый из них — живая, думающая, страдающая песчинка, вытряхнутая из огромной мозаики; имя ей — Россия.

Издательство имени Чехова.

ТРАГЕДИЯ

Где волны морские — там бури,
Где люди — там страсти.

Этот брак был делом давно решенным. Надо было только подождать несколько лет — ну, скажем, лет пятнадцать, чтобы жених и невеста успели поступить в школу, окончить ее и вообще вырасти, потому что единственное препятствие к немедленному союзу представлял именно возраст этой парочки. Жениху было неполных семь лет, невесте, как она сама раз ответила, «половина восьмого».

Виделись они не часто, раза три, четыре в год, но, повторяю, брак их был дело решенное. Собственно говоря, твердо решил это дело Котька. Он и был главный влюбленный. Таня как-то рассеянно соглашалась, вернее — не протестовала. Котька часто говорил с домашними о будущей своей семейной жизни, строил планы, мечтал. Таня планов не строила и не мечтала и на все рассеянно соглашалась. Такие рассеянные женские натуры встречаются довольно часто. Вся жизнь проходит у них в каком-то полусне. Ничего ярко и отчетливо они не сознают, ничего не помнят, ничего определенного не желают, ничто в жизни не имеет для них значения. Сердце у них доброе, они никого не хотят обидеть и очень удивляются и огорчаются, если кто-нибудь погибнет от их равнодушия или измены.

2

— Значит, Танечка, ты выходишь замуж за Котьку Закраева? — спрашивали Танечку.

— За Котьку? — рассеянно переспрашивала она. — Да, да.

И сразу заговаривала о чем-нибудь другом. Ей всегда было некогда.

Только раз остановилась она немножко подольше на будущей своей жизни с Котькой и даже построила некоторый план.

— Я хочу, — сказала она, — чтобы у меня было много детей, и все девочки. И я буду с ними гулять. Две девочки будут все в голубом, две в розовом, две в зеленом, две в желтом, две в красном, а сзади я — в сиреневом.

Дальше ее планы не шли, и фантазия останавливалась. У Котьки мечты были менее цветистые и более основательные, мужские.

— У меня будет отличный дом и у всех много комнат. У меня будет гостиная, кабинет и спальня, для папы гостиная, кабинет и спальня, для мамы гостиная, кабинет и спальня, для Тани гостиная, кабинет и спальня, для няни гостиная, кабинет и спальня. — Потом шел перечень всех теток и дядей и даже знакомых, которые почаще приходят: и тем полагалась, каждому — гостиная, кабинет и спальня. Развивая все эти планы, такие однообразные в своем величии, он, подконец, даже уставал и бормотал про свои гостиные и кабинеты, качаясь из стороны в сторону, как татарин на молитве.

Надо, все-таки, упомянуть о внешности героев.

Таня была девочка щупленькая, с большими темными глазами и короткими, туго заплетенными, косичками, которые торчали у нее за ушами, закрученные красными косоплетками. Платьица были на ней всегда

нарядные, и она часто разглаживала их руками, поглядывая на Котьку обиженно и надменно, словно приглашая его относиться к ее туалету почтительно и осторожно.

Котька был пухлый, белый, с ободранными коленками, с синяками на локтях и царапинами на шее.

Как-то вернулся он из школы со всеми следами полководца, потерявшего всю свою армию: верхняя губа разбита, глаз подбит и нос расцарапан.

— Котька! Что с тобой? Кто тебя так разделал?

— «Он» получил здорово, — всхлипывая отвечал Котька. — «Он» попомнит.

Попомнил ли «он», этот явно коварный враг, неизвестно. Имени его Котька не назвал. «Он» не получил славы Герострата.

* * *

У Танечки была елка.

Жених волновался, будут ли готовы штаны-гольф, переделываемые из маминой юбки. На эти штаны возлагалось много надежд. Они выходили такие огромные и широкие, что нельзя было не уважать залезшего в них человека. Сшиты были на рост, поэтому застегивались почти подмышками и свисали буфами почти до пят. Бабушка увидела, так и ахнула.

— Чего вы уродуете ребенка? Он в этой гадости какой-то старичок-карлик. Что за ужас!

Котька страшно обрадовался, что он старичок. Успех на балу был обеспечен. Он уже представлял себе, как восторженно ахнет Танечка, увидя, что он старик.

Однако низкая бабушкина интрига одержала верх, и на Котьку надели обычный его парадный костюмчик — черный бархатный, с голыми коленками. Котька был в отчаянии. Спасла его мрачную душу только

нянька, которая уверила его, что и в этом костюмчике он совсем, как старик. Котька не вполне этому поверил, но заставил себя верить. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

На елке было ребят человек десять, но Котьке показалось, будто их сотни две, и все незнакомые. Танечка тоже показалась незнакомой дамой потрясающей красоты. У нее были распущены волосы, и на темени дрожал незабываемо-прекрасный розовый бант.

Танечка поцеловала Котьку, взяла его за руку и велела танцовать. Рассеянные ее глазки шныряли и смеялись, но плясала она с Котькой, а не с другими, и он задыхался от счастья. Он ждал только перерыва в музыке, чтобы начать ей рассказывать про гостиную, кабинет и спальню, но во время антракта ему подарили три хлопушки, и радость настоящего момента заставила его на время забыть о планах будущей жизни.

И Танечка вертелась тут же, и от нее пахло шоколадкой, а розовый бант дрожал и закрывал весь мир своей непобедимой красотой.

Они вместе, Котька и Танечка, потянули большую хлопушку за разные концы, раздался огненный треск и запахло чем-то вроде пороха, волнующим и опасным. Котька вскрикнул и завертелся волчком. Слишком полна была жизнь красотой розового банта, и героическим запахом пороха, и треском, и блеском. Как выразить бедной человеческой душе свой восторг, если не визгом и не кружением.

И вдруг что-то случилось.

Розовый бант, подпрыгивая, удалился. Голоса взрослых приветствовали кого-то. Танцы приостановились. Котька поднялся на цыпочки и посмотрел туда, где был центр внимания. Посмотрел и увидел.

В дверях спокойно и гордо стоял человек. Ростом он был немного выше Котьки, но вообще — разве можно их сравнивать! Тот человек, который спокойно и гордо стоял в дверях, был — кадет. Кадет в мундире, в длинных суконных штанах, заглаженных твердой прямой складкой, и он держал фуражку на согнутом локте правой руки. Незабываемое, ужасное видение. Оно будет сниться Котьке в кошмарных снах долгие годы, — может быть, всю жизнь. Может быть, в глубокой старости, седой и почтенный Котик, Константин Николаевич Закраев, известный ученый или общественный деятель, министр, сенатор, президент, — встанет утром сердитый и раздраженный, распушит своих подчиненных и потребует крайних мер против своих врагов только потому, что ему приснился тяжелый сон — восьмилетний кадетик, спокойный и гордый, в длинных, твердо заглаженных брючках.

Котик стоял, и смотрел, и видел, как Танечка обняла кадета и целовала так, что розовый бант прыгал у нее на голове, и она взяла кадета за руки, и подвела к елке, и дала ему большую хлопушку, и вместе с ним тянула за концы. И хлопушка — она тоже подлая — треснула огоньком и запахла военным порохом.

— Таня! Таня! — позвал Котик.

Но она его не слышала. Она разворачивала хлопушку и доставала из нее бумажный колпак, зеленый с блестками, и потом надела этот колпак на кадета, а тот улыбался, как дурак, и потом они вместе — ужас! ужас! — пошли танцовать.

Котик пробирался за ними. Ему казалось — вечная ошибка покинутых и обманутых — что нужно непременно что-то ей сказать, объяснить: и она сейчас же поймет, и все будет по-старому. Сейчас все так ужасно. Елка какая-то зловещая, и все кругом чужие, и хло-

пушки хлопают одинаково для всех, — для хороших и для дурных, — и это не-вы-но-си-мо. Нужно скорее рассказать Тане про гостиную, кабинет и спальню и сказать, что кадет дурак, и все будет хорошо, и станет весело.

— Таня! Таня! — зовет он.

Губы у него дрожат, подбородок прыгает.

Вот они остановились, и она прилаживает к голове кадета зеленый колпак.

— Таня! — рыдающим голосом кричит Котька и хватает изменницу за плечо. — Таня, ведь я через три года тоже буду кадетом. Пойми! Мама сказала. Я буду кадетом, Таня!

Таня обернулась, смотрит на Котьку, но при этом прижалась к кадету. Ей весело, и она не понимает этого невыразимого отчаяния, которое дрожит перед ней и истерически топочет ногами.

— Ну, чего ты, Котька? — улыбнулась она. — Иди, танцуй.

И Котька ушел. Только не танцовать.

Его нашли в коридоре, на сундуке. Он горько рыдал и не отвечал на расспросы.

— Это он на Таню обиделся, — догадалась танина мать. — Таня, нехорошая девочка, иди скорей сюда, поцелуй Котика, видишь, он плачет.

Но Котик был гордый.

— Я не оттого... Я совсем не оттого... — рыдал он, мотая головой и шмыгая носом.

Ах, только бы не подумали, что он плачет «оттого».

— Таня, иди же сюда! — зовут изменницу.

И изменница прибежала и быстро и равнодушно чмокнула котькину щеку.

Быстро и равнодушно — это было ужасно. А рядом с Таней стоял кадет, спокойный и гордый, и всей

своей фигурой выражал презрение военного человека к ревущему мальчишке.

— Ну, вот видишь, Танечка тебя целует, — кудахтала танина мать. — Перестань же плакать, ты же большой мальчик.

«Большой мальчик». Это ужасно обидные слова. Так уговаривают только маленьких детей.

— Ну, Котик, поцелуй же Танечку и успокойся.

Котька вытер нос обшлагом рукава и сказал прерывающимся голосом, но очень твердо:

— Мне это не интересно.

И чтобы лучше поверили, прибавил, в полном отчаянии человека, который рвет с прошлым, умирает от боли, но не вернется:

— Мне интересна только хлопушка.

ПРЕСТУПНИК

Да, да. Где волны морские — там бури, где люди — там страсти.

Под старость, конечно, страсти стихают — от усталости, от привычки подавлять их. Но в молодости бороться с ними трудно.

Вовка думать этого не мог, но чувствовал определенно и ясно. Бороться было трудно. Особенно потому, что предмет, возбуждающий его страсть, вертелся под самым его носом по несколько часов в день. Иногда даже снился ночью.

Предмет этот был большой красный карандаш. Внутри он был черный, как самый обыкновенный, но снаружи блестящий, круглый, красный и ужасно большой. Красоты нечеловеческой.

Такой карандаш годится не только для писания, а и для многих других надобностей. Можно его просто катать по полу, можно им стучать по столу, как барабанной палочкой. Да и вообще — быть владельцем такой роскошной, такой огромной красной штуки уже само по себе упоительно.

Классная комната скучная, серенькая; черная доска, седоватая учительница в темном платьишке, замурзанные ребята с грязными лапками — все блеклое, унылое, и среди них — он, яркий, блестящий, сверкающий, единственная радость мира. Кра-со-та!

Можно держать себя в руках день, два, три, но

не вечно же. Больше выдержать было уже трудно. Как человек, по натуре, вполне порядочный, Вовка испробовал сначала легальный путь. Нахмурил те места, где у взрослых бывают брови, и спросил деловито у хозяина карандаша:

— Это разве твой карандаш?

— Конечно, мой, — ответил хозяин и, на всякий случай, засунул карандаш себе за пазуху.

— У меня был такой же, —вдохновился Вовка. — Это ты, верно, мой взял.

Но дело не выгорело.

На другой день он переменил тактику.

— Дай мне порисовать твоим карандашом.

Не прошло и это.

После — другого выбора уже не было.

Путь к обладанию желанным предметом оставался один. И путь этот был преступный. Вовка отлично понимал, что совершил преступление, иначе, на вопрос матери: «что это за карандаш?» — не хмурил бы те места, где у взрослых бывают брови, и не отвечал бы басом:

— Это нам в школе дали.

А потом, чтобы переменить разговор, не стал бы скакать на одной ноге по всей комнате и при этом еще орать во все горло.

Играть карандашом он залезал под диван. Там было спокойнее для преступного наслаждения. Он катал карандаш по полу и тихонечко пел бессловесную песню, не очень музыкальную и всегда вызывавшую громкий окрик:

— Кто там воет под диваном? Если это волк залез, так надо его капканом словить.

Он никогда не писал этим карандашом. Карандаш был ему нужен как красота, а не как польза. Приятно

было смотреть на него, вертеть в руках, катать по полу, поглаживать. Но главное — любоваться на его чудесный яркокрасный цвет.

Когда старшая сестра, большая, шестилетняя, Буба, дотронулась до этого удивительного предмета, Вовка завизжал, как от боли.

— Ты не имеешь права, это мое!

— Я только посмотреть хотела.

— Не имеешь права смотреть, это мое!

Дело с карандашом, пожалуй, так бы и затихло, но такой же карандаш, даже лучше, потому что длиннее и новее, оказался еще у одного мальчика.

Тут уже раздумывать было нечего. Коготок увяз, и всей птичке конец.

Под диваном стали кататься два карандаша.

— С моим Вовкой беда, — испуганно рассказывала вовкина мать своей приятельнице. — Вера, милая, по-моему, он в школе у мальчишек карандаши таскает. И не признается. Как быть? Надо что-то предпринять, а то, если пойдет дальше, ведь из него определенный вор выйдет. Что делать?

— Подожди, я попробую, — решила Вера. — У меня он не отвертится. Завтра же приду и поговорю.

— Только, ради Бога, не очень строго! Он ведь маленький.

— Маленький, но психология уже заправского вора. Катает свои карандаши под диваном. Тут нужно действовать серьезно и скоро.

На другой день веселая и оживленная пришла Вера к приятельнице. Принесла детям конфет.

— Ах, Зиночка, — рассказывала она между прочим, — какой я сегодня видела роскошный карандаш! Совсем красный. Такого нигде ни у кого нет. Ты ведь никогда не видала красного карандаша? Таких

ведь больше нет. Мне говорили, что на всю Европу сфабриковали только один.

Пятилетнее сердце не выдержало.

— А у меня есть два. Два! — закричал Вовка. — Вот, смотрите.

Вера посмотрела, полюбовалась и сказала тоном доброго малого:

— Мальчишки еще не заметили, что ты их стащил.

Вовка растерялся, раскрыл рот.

— Ну, так я тебе советую: завтра же положи их на место. Прямо каждому в его стол. Понял? А то, наверное, их родители заявили полиции. Нельзя так долго держать у себя чужие вещи.

— Это ужасно, — вздохнула Буба. — Он, наверное, не отдаст.

— Ну, что ты говоришь! — возмутилась Вера. — Вовка да не отдаст! Он же умный, он понимает, что с полицией шутки плохи.

Вовка молчал и громко сопел. Положение было трудное. Расстаться с карандашами было совершенно невыносимо. Бывают разлуки, которые нельзя вынести. Искалечить свою молодую жизнь! Можно подумать, что так они ему легко достались, эти карандаши. Других таких не наживешь. А Буба говорит — «не отдаст». Значит, надо назло отдать. Лучше, пожалуй, быть дураком, да с карандашами.

Вовка карандашей не отдал.

А вскоре разыгралась и другая история, на ту же тему.

Повели детей в гости к почтенной старухе. Пока мать со старухой беседовала, дети рассматривали карточки в альбоме, потом, как в этом возрасте полагается, начали разглядывать все, что было в комнате. Потрогали вазочку с цветами, перевернули пепельницу.

Пепел посыпался на ковер. Струсили, покосились на старуху. Та не заметила. Потом добрались до рабочего ящика. Тут уж пошло раздолье. Чего только не напрятала старуха в свой ящик! И тесемки, и катушки, и ленточки, и крючочки, и перламутровые пуговки, нанизанные на шнурочек, и два наперстка. Был еще и третий наперсток — ужасно странный — без донышка, и яркого, неповторимо яркого красного цвета. Пришлось примерить его на все пальцы. Очень был интересный наперсток, такого нигде не найдешь. Какая старуха хитрая, — завела у себя этакую прелесть! Прямо, не оторваться.

Мать подозвала Бубу прочесть старухе стихи про стрекозу, которой зима катила в глаза. А Вовка все еще любовался наперстком.

На другой день уроков не было, и он с утра залез под диван и катал что-то.

— Что он там катает? — спросила мать у Бубы.

Буба молчала и смотрела очень испуганно.

— Вовка, ты что там катаешь? — спросила мать.

— Старый волчок, — подумав, отвечал Вовка.

А Буба все молчала и даже прижала руки к груди.

— Чего ты, девочка моя? — спросила мать.

Буба вздохнула дрожащим вздохом и уперлась лбом в плечо матери.

На другой день, когда дети были в школе, мать отодвинула диван. Увидела что-то красненькое, засунутое за галун, у диванной ножки. Вытащила, посмотрела. Сразу узнала старухин наперсток, который та надевала на указательный палец левой руки, чтобы не колола иголка.

Вовка украл! Как быть?

Пошла советоваться с Верой.

— Не знаю, что придумать. Он слишком мал, чтобы можно было напирать на моральную сторону. Припугнуть, что ли, да не знаю — как.

— Подожди, — сказала Вера. — Я придумаю, я вечером зайду.

Вечером раздался звонок, да не простой, а три раза подряд.

Вошла Вера, страшно взволнованная.

— Что с тобой?

— Ужасно неприятная история, — отвечала Вера, — представьте себе, что к нашей старухе залезли воры и утащили ее красный наперсток. Она очень испугалась. Потому что воры теперь знают дорогу в ее дом и, наверное, еще раз залезут. Так вот она дала знать в полицию, и там обещали сегодня же найти вора.

Четыре круглых голубых глаза смотрели в ужасе.

— А как же они смогут найти? — прижимая руки к груди, спросила Буба.

— Полиция-то? — удивилась Вера наивному вопросу. — Так она выпустит ищеек. Ищейки побегут по следу и живо найдут.

— А-а-а они по лестнице могут? — заикаясь, спросил Вовка.

— Ну, конечно. Они же дрессированные.

«Ищейки» было ужасное слово. Конечно, это просто собаки, но какие-то узкие, мягкие, морды острые, длинные, извиваются и всюду пролезут.

— А-а-а как же они...

— Их привели к старухе, они все обнюхали и сразу побежали по следу.

— Уже бегут! — задохнулась Буба. — Господи! Надо признаваться! Надо признаваться!

— Конечно, если вор признается раньше, чем ищей-

ки его найдут, и вернет наперсток, то дело пойдет к прекращению. А иначе — ужас.

— Что иначе? — прошептал Вовка.

— Разве ты не знаешь? — удивилась Вера. — Ищейки отгрызают вору все пальцы, один за другим. Так и слышно: хруп-хруп.

— Только кончики? — дрожа от отчаяния и надежды, спросил Вовка.

— Какое там! Станут они церемониться! Все пальцы. Целиком.

— А-а-а они уже бегут? — побелевшими губами спросил Вовка.

И с последней надеждой:

— А кто же им откроет дверь?

— Полицейские. Полицейские бегут за ними. Они и откроют.

— Надо признаваться! — закричала Буба, обняла Вовку и с визгом заплакала.

— Мамочка, мамочка!

Вовка от ужаса затопал ногами.

— Мамочка, я ужасный вор! Я прельстился красненьким!

Мать дернула Веру за платье.

— Ну что ты наделала! — шепнула она с укором. — Нельзя же так. Всему мера.

— Мамочка! Беги к телефону! Скажи, что вор возвращает... Ради Бога! Ищейки бегут.

Собак и полицию уговорили по телефону. Полиция согласилась сразу, но собак пришлось долго уговаривать. Оказывается, что они донюхались и до карандашей и страшно озверели. Пришлось им пообещать целую жизнь безупречной честности.

Когда все, наконец, успокоилось, Вовка подошел

к матери, вздохнул облегченно, но еще дрожащим вздохом, и сказал:

— Ну, теперь можно, наконец, переменить мне штанишки. Теперь нам уже ничто не угрожает.

* * *

Утром, когда дети шли в школу, Буба заметила на тротуаре двойную булавку.

— Смотри, Вовка, кто-то булавку потерял.

— Не смей трогать! — прогремел Вовка басом. — Это чужая собственность. Ты должна сначала найти владельца, а потом уж можешь поднять, чтоб вернуть ему.

Буба отдернула свою преступную руку, уже готовую, было, завладеть чужим добром, и с уважением посмотрела на человека, ступившего на честный путь.

Человек шагал по честному пути толстыми ногами в связанных мамой гетрах, сурово сдвинув над круглым носом те места, где у взрослых растут брови. И от него пахло теплым молоком и манной кашей.

БЫЛА ВОЙНА

Вася, семнадцатилетний волонтер французской армии, в первый раз приедет в отпуск. В последнем письме написал:

«Приеду в субботу вечером, на сорок восемь часов, это уже наверное».

И «наверное» было подчеркнуто.

Потом пришла еще открытка.

«Приеду в субботу вечером. Только не вздумайте встречать на вокзале. Убедительно прошу — не надо».

— Почему он не хочет, чтобы его встретили на вокзале? — удивлялись домашние. — Верно, боится, что очень затолкают.

Ждали, волновались. Бегали в русскую лавочку за халвой, приготовили жареную колбасу с капустой — все по вкусу героя.

Сережа Синев прибегал каждые полчаса справляться — не приехал ли. Он так надоел, что пришлось ему наврать. Сказали, будто получена телеграмма, что Вася приедет в воскресенье утром.

Сережа Синев погас, как свечка на сквозняке, втянул голову в плечи и ушел понурый.

Лизочке, васиной старшей сестре, жалко стало Сережу, и она закричала вслед:

— Хотите шоколаду? У меня есть плиточка.

Но он уже не слышал.

Он шел и думал:

«Они, кажется, меня обманывают. Что же, завтра воскресенье, рано вставать не надо, и я отлично мог бы подежурить сегодня вечером на улице и проследить, не приедет ли Вася». Но тут же сообразил, что дома хватятся, пойдут его искать и потащут домой. Дома до сих пор относятся к нему, как к ребенку, что довольно глупо, потому что ему двенадцать лет, а в этом возрасте у островитян человек считается уже совершеннолетним и может не только взойти на трон своих отцов, но даже жениться. Ну, женитьба, положим, чорт с ней. Он женщин не любит. Трон? Он бы его с удовольствием променял на хороший аэроплан новейшей системы, четырехмоторный.

Из ночного дежурства ничего не вышло. Родители, не имевшие ни малейшего понятия о правах двенадцатилетних островитян, Сережу вечером уже из дому не выпустили.

* * *

Вася приехал довольно поздно. Дома уже потеряли надежду, решили, что начальство раздумало.

Вошел он радостный, шумный, громыхал сапогами, махал руками и говорил так громко, словно перекликался с кем-то через речку. Шинель ему попалась узковатая, красные руки торчали из коротких рукавов гусиными лапами.

Первый его вопрос был:

— А где же консьержка? Я ее не видал.

— На что тебе консьержка? — удивились мать и сестра.

— Да просто интересно, узнала бы она меня в этой форме.

Он долго поворачивался во все стороны, не снимая форменной шапки, косясь на зеркало и великодушно предоставляя собою любоваться.

— Да ты, кажется, вырос за это время, — сказала сестра.

— Да, многие думают, что мне двадцать лет.

— Отчего нельзя было тебя встречать? — спросила сестра.

— Да я ехал с товарищами, — отвечал он неохотно. — Мы, солдаты, любим сразу с вокзала зайти в бистро, выпить по стаканчику. Вы бы только стеснили.

— Ну, садись, бедный мой мальчик, — сказала мать. — Намучился ты, наверное. Тяжело было?

— Гм... — отвечал Вася. — Как сказать. Конечно, было довольно холодно. Кормили хорошо. Товарищи чудные. Га-га-га! Есть у нас один — Андре Морель. Ну, я такого комика в жизни своей не встречал!

— Да подожди, ты поешь сначала. И почему ты так ужасно кричишь?

— Разве? Разве я кричу?

Начались рассказы из военной жизни.

— Вот вы мне никогда кофе в постель не давали, а там, если кто из нас заленился, товарищ непременно принесет ему кружку с его порцией. И никто не возмущается и не ворчит, как вы.

Потом шли рассказы о том, как поутру встают, как моются.

— А зубы чистят? — спросила мать, заранее делая осудительное лицо.

— Конечно, чистят! — восторженно воскликнул Вася. — Еще как!

— Скоро вас, пожалуй, и на фронт двинут.

— Да, мы надеемся, что скоро.

— Спешить нечего, — сказала мать и вздохнула.

А Вася опять начал свои рассказы про товарищей, про солдатское житье-бытье.

Мать смотрела на него и думала:

— Как он изменился! Совсем какой-то чужой. Похудел, почернел, лапы красные, кричит, стучит, и пахнет от него ремнями, сапогами и мокрой шерстью. И чему он все радуется? Семнадцать лет, а совсем ребенок.

Рассказчик скоро устал. Он чувствовал, что между ним и слушателями нет контакта, все чаще и чаще вставлял в свои рассказы слова: «Ну, вам этого не понять» — «Ну, вы этого, все равно, не поймете». Стал зевать, распяливая рот, как кошка, и попросился спать.

— Мы ведь привыкли в шесть часов вставать и рано ложиться. Вообще, скучища у вас дьявольская.

— Только, ради Бога, не стучи так сапогами и не кричи. Ты всех соседей перебудишь.

Несмотря на эти просьбы, утром, часов в семь, застучали сапоги, хлопнула дверь. Ушел. Ушел, но скоро вернулся и — не один. За ним шел, с блаженно улыбающейся физиономией и горящими ушами, Сережа Синев.

— А я... а я встал в шесть часов, — лепетал Сережа, — и никто мне не посмел ничего сказать, потому что рано вставать — это полезно.

Он говорил, задыхаясь и путая слова, так что, вместо «полезно», у него вышло «лапезно», но он этого не заметил. Ему было не до красноречия. В такой момент до того ли.

— Я встал и пошел пройтись просто так. И вдруг вижу — вы. И я сразу вас узнал. Ну, буквально. Понимаете: иду, и вдруг выходит из вашего дома какой-то солдат. Мне показалось, что с бородой. Я испугался, подумал, что, может быть, какой-нибудь пожар... И вдруг вы говорите: «Здравствуй, Сережа». Ну, я сразу вас и узнал. Буквально.

Сережа Синев ужасно волновался. Ему до смерти хотелось потрогать ремень кушака, пуговицы, рас-

смотреть эти роскошно гремящие, толстые, точно из дуба выпиленные, сапоги.

— Ну, а скажите, там ведь, все-таки, страшно? А?

— Ну, чего же тут страшного? — равнодушно отвечал Вася. — Ведь мы же еще не на самом фронте.

— Ну, а все-таки. Шальная пуля может и туда залететь.

Он особенно рассчитывал на эффект выражения «шальная пуля». Выражение определенно военное.

Васе не хотелось отрицать: «Все равно, мальчишка не поймет». Он только равнодушно пожал плечами.

— Ну, мы там об этом и не думаем.

— Ну, а скажите, какие у вас товарищи? — волновался Сережа. — Есть и еще старше вас?

— Ну, конечно. Есть во какие бородачи, лет по сорока.

— По со-ро-ка! — восторженно удивился Сережа. — Это уже, должно быть, совсем морские волки. И они тоже все вместе с вами — и разговаривают и все?

— Ну, да, конечно.

Сережа несколько секунд молча любовался героем.

— А скажите, вы там уже начали бриться? Или у вас борода еще не растет? — спросил он, глядя на круглые, гладкие васины щеки.

— Нет, у меня борода уже растет, только я не бреюсь. Я решил запустить бороду. Конечно, понемножку...

Сережа понял, что вопрос был бестактный, и слегка сконфузился.

— А скажите, а генералов вы там видали?

— Сколько угодно.

— А как же они?

— Да ничего. Очень любезны. Со мной, по крайней

мере. Но, конечно, они очень требовательны. Дисциплина прежде всего. Надо знать все правила: как стоять в строю, как отдавать честь, как отвечать начальству. Это не пустяки. Иногда от такой мелочи зависит исход сражения.

Сережа Синев слушал, затаив дыхание, и некоторые слова даже повторял про себя шопотом.

— А скажите, вы стрелять уже умеете? — робко спросил он. (А вдруг, это бестактно? Вдруг, такой вопрос нельзя предлагать военному человеку?).

— Да, нас уже обучают стрельбе. У меня было из десяти почти семь попаданий.

— Это замечательно! — радовался Сережа. — Значит, из десяти неприятелей вы бы уложили семь. Семеро остались бы на поле сражения? Наверное, все начальство безумно удивилось?

— Да, я считаюсь недурным стрелком, — скромно отвечал Вася. (Почему и не поскромничать, раз факты сами за себя говорят).

— А пушки у вас там были? Из пушек вас учили стрелять?

Из пушек Васю стрелять не учили, но у него нехватило духу в этом признаться. Он чувствовал, что Сереже до смерти хочется, чтобы он видел пушку и стрелял из пушки. «Пусть дурачок порадуется».

— Ну, конечно, у нас там есть пушки.

— Серьезно? Боже мой! И какого же калибра?

— Само собою разумеется, что разного. Мы должны уметь и заряжать, и наводить, и стрелять из самых разнообразных систем. Это, голубчик мой, целая наука. Поэтому в артиллерию и отбирают самых способных людей.

— Ну, значит, вас уж непременно возьмут. А скажите, пушка около вас стреляла?

— Ну, да, конечно.

— И вы близко стояли?

— Близко.

— Ну, как, покажите. Вот как до этого комода? Или дальше?

— Нет, пожалуй, еще ближе.

— И что же, очень громко ревет?

— Ужасно.

— И вы слышали, как она ревет? Нет, скажите правду — неужели вы слышали?

— Да, конечно же, слышал. Тут, голубчик, хоть уши заткни, так и то услышишь.

— Замечательно! Я думаю, это, все-таки, страшно.

Вася встал, пошел в кухню, принес себе кофе.

— Хочешь кофе?

Но Сережа даже не понял вопроса. Он смотрел, как Вася пьет, как жует и глотает хлеб, и тоже шевелил губами и глотал вместе с ним, не сознавая, что у него-то во рту ничего нет.

— Скажите, раньше семнадцати лет нельзя идти волонтером? Не принимают? Боже мой, а ведь пять лет война ни за что не протянется. С такими пушками, которые так ужасно ревут, через два месяца от немцев ничего не останется.

— А скажите, сколько полагается аэропланов, чтобы уничтожить такую пушку? А которая сильнее ревет — обыкновенная или зенитная?

Он смотрел перед собой блестящими невидящими глазами и тихонько бубнил:

— Пам! Пам! Бу-у-у! Пам! Пам! Бу-у-у!

Вечером мать спрашивала Васю:

— Неужели тебе Сережа не надоел? Целый день только и слышно было: «А скажите, а скажите».

— Ничуть не надоел, — сухо отвечал Вася. — Он

очень развитой и вполне боеспособный. Он мне советовал идти в артиллерию.

На другой день, уложив в походный мешок изрядный кусок халвы и пачку папирос для товарищей, бравый волонтер отправился на вокзал, строго запретив всякие проводы.

На вокзале он сразу встретил товарищей и смешался с густой толпой бурых и голубых солдат. Заколыхались котомки, мешки, чемоданы. Весело гудели и перекликались голоса, и никто не обращал внимания на маленькую фигурку, прижавшуюся у барьера, и никто не слыхал голоска, робко звавшего:

— Вася! Вася! Мосье Базиль! Мосье ле солда Базиль!..

В АМЕРИКУ

Какую чудесную историю узнали мы из газет!

Небольшая компания отправилась путешествовать и искать приключений. Компания состояла из четырех человек. Старшему было шесть лет, младшему — два года.

Вряд ли младший отправился в эту авантюру по своему почину и разумению. Его, вероятно, прихватили с собой старшие, которые правильно рассудили, что молодежь должна развиваться, а путешествие с приключениями как раз то, что нужно, чтобы закалить характер и развить воображение двухлетнего молодого человека. Няньки и манная каша страшно тормозят дело.

Храбрые путешественники бродили по улицам Лондона, крепко держась за руки, чтобы как-нибудь не потеряться. Они очень устали. В газетах отмечено не было, но, вероятно, младший уже несколько раз принимался реветь. Когда, наконец, полицейский обратил на них внимание, то оказалось, что даже бравый предводитель не мог назвать улицу, где они живут, и пришлось их возить по городу, чтобы разыскать родной дом.

Какая чудесная история! Какая радость, что есть еще на свете фантазеры с горячими головами — не беда, что старшему из них только шесть лет, а младшему — всего два.

И, все-таки, странно — как они до этого додумались?

В нашу молодость такая любовь к приключениям была вполне естественна. Воспитывались мы на Майн-Риде и Жюль-Верне, и в редкой семье не собирались дети бежать в Америку. Но такой шестилетний вожак банды, наверное, и не слыхал о «Детях капитана Гранта» или «Охотниках за черепами».

А идти странствовать — это ведь наша русская болезнь. Заграницей она не была известна.

И вообще, странствовать по-нашему, по-русски — это особая статья. Здесь — тяга природы. А вот «бежать» в Америку, — это было ребячье дело, влияние Майн-Рида.

В Америку бежали долго. Все, собственно говоря, и состояло в приготовлениях к побегу. Сушили сухари, правда, не в особенно большом количестве, сухаря по три на каждого беглеца. Потом запасались бисером — это было самое главное. Бисер был необходим для торговли с туземцами. За одну бисеринку туземец племени Гурон с удовольствием отдавал двадцать самых лучших леопардовых шкур. А леопардовы шкуры очень высоко ценятся в Европе. За несколько таких шкур и пару слоновых клыков можно «зафрахтовать» целый корабль для триумфального возвращения в Европу.

Когда мне было лет семь, я была свидетельницей самых лихорадочных приготовлений к побегу, и именно в Америку.

Дело было в деревне, во время каникул. Гостили у нас двоюродные братья, самого майн-ридовского возраста. Вот они и были главными вдохновителями моих старших братьев и сестер.

Меня в Америку не пригласили, и даже разговоры

на эту тему при мне велись шопотом. Из гордости, я делала вид, что ничуть этим не интересуюсь, но обидно было ужасно. Точно, я не сумею вести меновую торговлю с туземцами! Бисер у меня был, и мы каждый день низали колечки — и я и младшая сестра Лена. Что Лену не берут с собой, — это еще понятно. Лена сидела за столом на высоком стуле и из-за каждого пустяка ревела с визгом. Такой спутник для Америки не особенно годится. Уважения к бледнолицым братьям не прибавит. Но я — я была уже грамотная и, потом, очень храбрая, так что дорого продала бы свою шкуру, в случае измены и нападения гуронов.

Очень было обидно, Но из гордости, я не навязывалась.

Атмосфера была таинственная, тревожная. Эти полуслова, намеки, странные имена, срывавшиеся с губ.

— «Орлиный коготь».

— «Змеиный зуб».

— «Черепашья лапа».

— «Олений глаз».

Раза два удалось мне уловить фразу:

— Тише! «Змеиный зуб» слышит.

И еще раз:

— Молчи! «Змеиный зуб» нафискалит няньке.

Тут я кое-что поняла и потом проверила. Поняла, что «Змеиный зуб» — это именно я. А бедная толстая Лена, сидящая на высоком стуле с перекладинкой, оказалась «Черепашьей лапой».

Жить в такой атмосфере и оставаться равнодушной, не заразиться общей горячкой бегства в Америку было невозможно. Бежать одной даже и в голову не приходило.

Пришлось подговорить Лену. Лена сначала не понимала, а когда поняла, всхлипнула: «Маму жалко».

Это было совсем уж ни на что не похоже. «Маму жалко»! Тут буйволы, гуроны, бледнолицые когти, орлиные зубы, и вдруг такое простое дело — «маму жалко».

А почему же те, старшие, знатоки американского дела, почему же они не плачут и ни о чем домашнем не мучаются? Мне тоже стало как-то не так уж бодро, глядя на ревущую Лену. Может быть, оттого меня и не приглашают бежать, что я еще не закалилась для борьбы со стихиями?

Утешило меня то, что Лена, хотя и всплакнула, но бежать не отказывалась. Раз все бегут, значит, так уж надо. И потом — очень уж она в меня верила. Я, в ее глазах, была могущественным существом, — существом, которое могло прочесть подпись под картинками; которое, хотя и изгонялось со скандалами из классной комнаты старших детей, но было как бы переходной ступенью из презренной детской в уважаемую комнату, где учились уроки. Нечто вроде кокона — ни гусеница, ни бабочка, а какая-то ерунда, из которой, все-таки, бабочка вылезает, но назад в гусеницу не обратится.

Насколько я теперь понимаю, старшие дети не очень серьезно собирались в Америку. Это скорее была игра. Очень захватывающая и завлекательная, и, может быть, иногда им даже казалось, что дело обстоит вполне реально, но с этим сознанием как-то уживались и планы ходить зимой вместе на каток, и совещания о том, как лучше вздуть какого-то одноклассника, негодяя и фискала, и каким клеем лучше будет намазать стул для учителя греческого языка, чтобы он прилип к нему на веки-вечные и должен был бы подать

в отставку, потому что нельзя же держать такого учителя, который на шести ногах трюхает — две свои и четыре от стула.

Словом — планы будущего сезона вырабатывались самые основательные, а одновременно тут же была и проводилась в жизнь мечта об Америке.

Сухари — ведь это нечто уж вполне реальное; собирание бисера, таинственные имена. Ну, как тут разберешься, что настоящее, что просто болтовня? А вдруг школьные планы обсуждаются только для отвода глаз, а самое настоящее-то и есть Америка?

Кто-то из вожаков американского плана сочинил даже стихотворение, прославляющее эту чудесную страну. Стихотворение это запомнилось на всю жизнь— так сильно было произведенное им впечатление.

«Америка! К тебе стремятся
Десятки, тысячи людей!
Но точно так в тебе ютятся
Еще немало и зверей.
Но зноен луч американский, —
Когда зима царит у нас —
В тебе уж близок лета час!»

Помню, мне особенно понравилось выражение «луч американский».

Выходило как-то очень добротно и деловито. Звучало вроде: «американский каучук», «американские шины». Луч американский! Наверное, прочный, крепкий, добротный! И при этом еще знойный! Разве это не чудесно?

Начало в стихотворении было абсолютно неопровержимо. Мы твердо знали, что тысячи людей стремятся в Америку. И даже те, которые почему-то не стремятся, представлялись нам чудаками. Людьми не совсем нормальными.

Неужели есть на свете люди, которых не интересуют мустанги? Неужели есть на свете человек, которому не хочется попробовать плодов хлебного дерева? Тем более, что мне хлебное дерево представлялось вроде развесистой яблони, на которой растут круглые, поджаренные булки.

Фантазия разыгрывалась. Наверное, если подальше заехать в Америку, так найдется еще и колбасное дерево, на котором растет колбаса, и дерево с пирожными. В Америке все может быть.

Иногда очень хотелось расспросить старших, знатоков Америки, обо всех этих штуках, но какое-то чувство мешало это сделать. Может быть, казалось неделикатным обнаружить, что я проникла в их тайну: может быть, подозрение, что они со мной на эту тему беседовать не снизойдут; а может быть, не хотелось показать, что я ничего не знаю. Гордость не позволяла. Одним словом, я предпочитала молчать и фантазировать. Лене рассказывала свои выдумки, как самые настоящие факты.

Время шло. Лето проходило.

Американцы все реже говорили об Америке, все чаще о школьных делах и городских планах. Кое-кому предстояли переэкзаменовки. Суровая действительность вступала в свои права.

Стали готовиться к отъезду, но уже не в Америку, а просто в город. Мы, маленькие, оставались в деревне до осени.

В конце августа дом опустел. Стало тихо, просторно. Америку забыли.

Но вот как-то остались мы с Леной одни в большом отцовском кабинете. Подошли к открытому окну. Окно было большое, почти до пола, и выходило на лужайку цветника. Если сесть на подоконник и спустить ноги наружу, то можно очень легко спрыгнуть.

Сели рядом. Спустили ноги.

И вдруг мысль:

— Лена, хочешь сейчас бежать в Америку? Вот отсюда спрыгнем и побежим.

Выражение «бежать в Америку» я понимала буквально. Так и думала, что бежать — это и значит бежать, а не идти, не плыть, не ехать.

Спрыгнули, очутились в цветнике.

Никто нам не запрещал гулять в цветнике около дома, сколько угодно. Но оттого, что мы вышли не в дверь, а таким незаконным и необычным способом — через окно, сразу перенесло нас в другую жизнь, в жизнь опасности, приключений, небывалую, запретную и незаконную.

Дыхание захватило, сердце забилось.

Я схватила Лену за руку, и мы побежали. Прямо по дорожке, к воротам. Тяжелые ворота, как всегда, были заперты. Да мы и не собирались их открывать. Мы и здесь, в дозволенной нам зоне, психологически нарушили закон и жили в новой жизни — свободной и страшной. И все казалось нам другим. Мы не узнавали этого большого белого дома — это был не наш дом, а чужой и даже враждебный. И сад был тихий и зловещий. Я никогда раньше не видела в нем таких страшных оранжевых лилий.

Лена смотрела на меня круглыми глазами, дышала тяжело, и видно было, что она тоже боится.

Огромная блестящая муха звонко и как-то отчаянно быстро пролетела у самого моего уха. Так торопятся только при большом несчастьи. Куда мы теперь? Все кругом чужое, злое!

Вот вышла на черное крыльцо какая-то женщина.

Поманила нас. Это ключница. Только и она не та. Не всегдашняя. Вот она идет к нам.

Я крепче сжимаю руку сестры.

— Чего вы тут стоите? — спрашивает ключница.

Я молчу и слышу, как стучит мое сердце.

— Страшно! — шепнула Лена, зажмурила глаза и заплакала.

* * *

Так и закончилось наше бегство в Америку.

Из всех путешествий моей жизни это было, по силе впечатлений, самое потрясающее.

ЭТАПЫ

1

В это утро всегда бывало солнце.

Всегда была яркая, веселая погода. Так, по крайней мере, запомнилось на всю жизнь им обеим — и Лизе и Катеньке.

В это утро няня надевала на них новенькие светлые платья и к чаю приносила снизу, из «большой» столовой, где пили чай взрослые, по кусочку кулича, пасхи и по половинке крутого яйца.

Сама няня разговлялась рано утром, вернувшись от обедни, пила кофе со сливками, и дети знали, что она непременно будет весь день ворчать, а к вечеру захворает.

Крутое яйцо всегда застревало у Лизы где-то в груди, и ее долго стукали по спине кулаком, чтобы оно проскочило.

Пришла ключница христосоваться. От нее пахло по-пасхальному, — ванилью.

Ключница рассказывала, как одна хозяйка, лет двадцать тому назад, пекла бабу на белках, а баба в печке села. Баба села, а хозяйка от стыда повесилась.

Лиза знала этот рассказ, но никогда как-то не могла разобрать, кто повесился, а кто сел, — баба или хозяйка. Представлялась воображению огромная, огнем сияющая печь, вроде, как на священной картинке «пещь», в которую ввергнули трех отроков. И представлялось,

что сидит в этой печке большая, толстая баба. Она же хозяйка. Словом, ничего не разобрать, но в общем, что-то противное, хотя и рассказывала об этом ключница довольно бодро и весело.

И еще помнила она всегда на Пасху про Августа Иваныча, у которого служила когда-то.

— Вот, поди ж ты, и немец, а какой был религиозный человек. Нарочно всю страстную мяса не ел. Мне, — говорит, — вкуснее покажется на Пасху разговеться. Вот вам и немец, а ни за что, бывало, на Пасху без ветчины за стол не сядет, — такой был религиозный.

Вечером Лиза вспомнила нечто очень важное и пошла к старшей сестре.

— Вот ты в прошлом году говорила, что ты уже отроковица, а я еще младенец. Теперь я тоже говела, значит, я тоже отроковица.

Сестра недовольно отвернулась и пробормотала:

— Пусть отроковица, а я теперь юноша. И иди в детскую, а то я мадмазель пожалуюсь.

Лиза горько задумалась. Никогда ей не догнать эту Машу. Вот через четыре года она, значит, тоже станет юношей, а Маша, наверное, будет уже старой девой. Никогда не догнать.

2

В церкви тесно и душно. Тихо потрескивают свечи в руках молящихся. Там, высоко под куполом, стелется голубоватый туман ладана. Внизу — золото икон, черные фигуры и огни. Все черное, огонь и золото.

Лиза устала. Отламывает кусочки оплывшего воска, скатывает шарики и налепляет их на свечку, отмечая, сколько Евангелий прочел священник.

Священник читает хорошо, отчетливо слышно, хотя Лиза стоит далеко.

Лиза слушает знакомые фразы и не может сосредоточиться. Мешает стоящая перед ней старуха, которая все время злобно оборачивается и сверлит Лизу острым глазом с желтым, рыбьим ободком. Старуха боится, что Лиза подпалит ей лисий воротник.

И еще мешают рассеянные мысли. Думала о своей подружке, рыженькой, кудрявой Зине. Она похожа на пчелу, — вся медовая, вся золотистая. Ее медовые волосы вьются мелким барашком. Летом на даче сидела она как-то с собачкой-болонкой на руках. Прошла мимо баба и сказала: «Ишь, какая пудель». И серьезно спрашивала у Лизы: «Ради Бога, про кого она сказала, — про меня или про Кадошку?». — Зина глупенькая и так похожа на пчелу, что Лиза зовет ее Зум-Зум.

— О чем сейчас читает батюшка? «И абие петел возгласи»... Как это было? Ночь. Костер во дворе первосвященника. Должно быть, холодно было. Люди грелись у костра. И Петр сидел с ними. Лиза любила Петра и выделяла его среди других апостолов. Любила за то, что он был самый пламенный. И она не хочет думать, что Петр отрекся. Когда его спросили, не пришел ли он с Иисусом Назареем, он не признался, что пришел, только потому, чтобы его не прогнали. Ведь он же сам последовал за Христом во двор первосвященника, не побоялся.

Лиза думает о том, как Петр заплакал и отошел, когда «абие петел возгласи», и у нее болит сердце, и она идет душою вместе с Петром — мимо стражи, мимо страшных, злых солдат и со злобным подозрением глядящих слуг первосвященника, проходит в ворота, входит в черную горестную ночь.

И дальше, дальше. Гудит народ на площади перед домом Пилата. И голос громкий, страшный и властный, как сама судьба, возгласил: «Распни! Распни Его!» И точно огни свечей задрожали, точно злое, черное дыхание пронеслось по церкви: «Распни, распни Его!». Из века в век передается этот злой крик. Чем заплатить, как искупить нам, людям, чтобы он умолк, чтобы не слышать его?

Лиза чувствует, как холодеют у нее руки, как вся она цепенеет в какой-то восторженной печали, и слезы текут по щекам. Что это? И отчего я плачу? Что со мною?

Может быть, рассказать об этом Зине, Зум-Зум? Но как рассказать, чтобы она поняла? Поймет ли, как вся церковь притихла, и огоньки задрожали, и страшный голос так громко, так ужасно возопил: «Распни, распни Его!». Не сумею я этого рассказать. А если расскажу плохо, Зум-Зум ничего и не поймет. А если поймет и почувствует так же, как я, — как это будет удивительно и чудесно! Тут совсем будет что-то новое, как-то мы иначе и жить будем. Господи! Сделай так, чтобы я могла рассказать!

* * *

Первый день Пасхи был очень веселый. Приходило много поздравителей. Лиза надела весеннее платьице, фасон которого сама выбрала. И выбрала она его потому, что в модном журнале было под ним написано: «Платье для молодой девицы тринадцати лет». Понимаете? Для молодой девицы, а не для девочки и не для подростка.

К завтраку пришла Зум-Зум. Вид у нее был счастливый и таинственный.

— Пойдем скорее к тебе. Масса нового, — шепнула она.

Новое действительно оказалось потрясающим. Кадет! Дивный кадет! И не мальчишка, ему уже шестнадцать лет. Он поет романс «Скажите ей, что пламенной душою». Зум-Зум сама не слыхала, но Вера Ярославцева говорит, что очень хорошо. И он влюблен в Зум-Зум. Он видел ее зимой на катке и видел на вербах, с Верой Ярославцевой. Он видел также и Лизу.

— Да, да, видел. Не знаю, где. И сказал, что ты роскошная женщина.

— Неужели? — ахнула Лиза. — Так и сказал? Интересно — какой он?

— Я наверное не знаю. Когда мы гуляли на вербах, за нами шли два кадета, а который он, я не знаю. Но мне кажется, что такой черноватый, потому что другой был ужасно белый и круглый, какой-то неспособный на чувство.

— А как ты думаешь, он и в меня тоже влюблен?

— Вероятно, тоже. Ну, что ж, это еще веселее, если в обеих.

— А ты не считаешь, что это безнравственно? Мне чего-то страшно.

Зум-Зум, кудрявая, медовая, пчелиная, иронически поджала малиновые губы.

— Ну, знаешь ли, ты меня удивляешь. В царицу Савскую все народы были влюблены, а тут один кадет, и ты пугаешься. Это просто глупо.

— Так это правда, что он так про меня сказал? Что я...

Ей неловко было повторить эти потрясающие слова: «рос-кош-на-я жен-щина».

— Ну, конечно, правда, — рассудительно отвечала Зум-Зум. — Раз Вера Ярославцева так передала. Ты думаешь, ей это приятно было бы выдумать? Наверное, от зависти лопается.

— А, может быть, это, все-таки, грех? — волновалась Лиза. — Подожди, я что-то хотела тебе рассказать, и вот не помню. Что-то важное.

— Ну, в другой раз вспомнишь. Зовут завтракать.

Вечером, укладываясь спать, Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свое белобрысое, острое личико, на веснущатый нос, улыбнулась и прошептала восторженно:

— Роскошная женщина.

3

Ночь была черная.

С правого борта море сливалось с небом, и казалось, что там, совсем близко, в нескольких метрах от парохода, сразу кончается мир. Черная бездна, мировое пространство, вечность.

С левого борта видны далекие, редкие огоньки. Они были живые — гасли, двигались. Или это только казалось оттого, что все знали, что там город, живые люди, движение, жизнь.

После двухнедельного плавания, скучного и страшного, когда никто не был уверен, куда и когда доплывет, и вообще будет ли когда-нибудь земля под его ногами, и будет ли эта земля ласковая, и не явится ли она дорогой на горе, муку и смерть, — после этого плавания, так обидно казалось видеть эти живые огоньки и не сметь подплыть к ним.

Утром капитан обещал снестись с берегом, выяснить положение, и тогда решит, что делать.

Кто там в городе? В чьих он руках? Свои там или чужие? Белые или красные? А если чужие — куда мы денемся? Уйдем на восток? Не пробраться нам далеко на нашем суденышке. Потонем.

Бродят усталые люди по палубе, смотрят на огоньки.

— Не хочу смотреть на эти огни, — сказала Лиза. — От них еще тоскливее. Уж лучше эта черная, страшная ночь. Она мне ближе. Но как странно гудит море? Что это такое?

Мимо тихо прошел матрос.

— Скажите, — спросила Лиза, — вы слышите, как море гудит?

— Слышу, — отвечал матрос. — Это с берега доносится колокольный звон. Это хороший нам знак. Там белые. Сегодня страстной четверг. Двенадцать Евангелий.

«Двенадцать Евангелий». Что-то далекое вспомнилось. Черное, золото, огни. Голубой туман ладана. Девочка с белокурыми косами сжимает руки, в которых дрожит и оплывает восковая свечка, — сжимает руки девочка и плачет. «Что делать, как искупить нам, людям, чтобы страшный крик умолк, чтобы не слышать нам: «Распни, распни Его!»

Как странно, как ярко все это вспомнилось! Такая огромная жизнь прошла, и вдруг — то мгновение, которое тогда сразу же было забыто, вдруг подошло, загудело в море колокольным звоном, зажгло огни берега восковыми свечечками и точно догнало и встало рядом и больше не отойдет. Не отойдет? А не прибежит ли снова Зум-Зум, зажужжит, закружит, завертит? Зум-Зумы скоро бегают, везде догонят. «И абие петел возгласи»...

КИШМИШ

Великий пост. Москва.

Гудит далеким глухим гулом церковный колокол. Ровные удары сливаются в сплошной тяжкий стон.

Через дверь, открытую в мутную предутренней мглой комнату, видно, как, под тихие, осторожные шорохи, движется неясная фигура. Она то зыбко выделяется густым серым пятном, то снова расплывается и совсем сливается с мутной мглой. Шорохи стихают, скрипнула половица, и еще одна — подальше. Все стихло. Это няня ушла в церковь, к утрене.

Она говеет.

Вот тут делается страшно.

Девочка свертывается комочком в своей постели, чуть дышит. И все слушает и смотрит, слушает и смотрит.

Гул становится зловещим. Чувствуются беззащитность и одиночество. Если позвать — никто не придет. А что может случиться? Ночь кончается, наверное, петухи уже пропели зорю, и все привидения убрались во-свояси.

А «свояси» у них — на кладбищах, в болотах, в одиноких могилах под крестом, на перекрестке глухих дорог у лесной опушки. Теперь никто из них человека тронуть не посмеет, теперь уже раннюю обедню служат и молятся за всех православных христиан. Так чего же тут страшного?

Но восьмилетняя душа доводам разума не верит. Душа сжалась, дрожит и тихонько хнычет. Восьмилетняя душа не верит, что это гудит колокол. Потом, днем, она будет верить, но сейчас, в тоске, в беззащитном одиночестве, она «не знает», что это просто благовест. Для нее этот гул — неизвестно что. Что-то зловещее. Если тоску и страх перевести на звук, то будет этот гул. Если тоску и страх перевести на цвет, то будет эта зыбкая серая мгла.

И впечатление этой предрассветной тоски останется у этого существа на долгие годы, на всю жизнь. Существо это будет просыпаться на рассвете от непонятной тоски и страха. Доктора станут прописывать ей успокаивающие средства, будут советовать вечерние прогулки, открывать на ночь окно, бросить курить, спать с грелкой на печени, спать в нетопленой комнате и многое, многое еще посоветуют ей. Но ничто не сотрет с души давно наложенную на нее печать предрассветного отчаяния.

* * *

Девочке дали прозвище «Кишмиш». Кишмиш — это мелкий кавказский изюм. Прозвали ее так, вероятно, за маленький рост, маленький нос, маленькие руки. Вообще, мелочь, мелюзга. К тринадцати годам она быстро вытянется, ноги станут длинными, и все забудут, что она была когда-то кишмишом.

Но будучи мелким кишмишом, она очень страдала от этого обидного прозвища. Она была самолюбива и мечтала выдвинуться как-нибудь и, главное, — грандиозно, необычайно. Сделаться, например, знаменитым силачом, гнуть подковы, останавливать на ходу бешено мчащуюся тройку. Манило также быть разбойником или, пожалуй, еще лучше — палачом. Палач — могущественнее разбойника, потому что он одолеет,

в конечном счете. И могло ли кому-нибудь из взрослых, глядя на худенькую, белобрысую, стриженую девочку, тихо вяжущую бисерное колечко, — могло ли кому-нибудь придти в голову, какие грозные и властные мечты бродят в ее голове? Была, между прочим, еще одна мечта — это быть ужасной уродиной, не просто уродиной, а такой, чтобы люди пугались. Она подходила к зеркалу, скашивала глаза, растягивала рот и высовывала язык набок. При этом предварительно произносила басом, от имени неизвестного кавалера, который лица ее не видит, а говорит в затылок:

— Разрешите пригласить вас, мадам, на кадриль.

Потом делалась рожа, полный оборот и следовал ответ кавалеру:

— Ладно. Только сначала поцелуйте мою кривую щеку.

Предполагалось, что кавалер в ужасе убегает. И тогда ему вслед:

— Ха! Ха! Ха! Небось, не смеешь!

Кишмиш учили наукам. Сначала — только Закону Божию и чистописанию.

Учили, что каждое дело надо начинать молитвой.

Это Кишмиш понравилось. Но имея в виду, между прочим, и карьеру разбойника, Кишмиш встревожилась.

— А разбойники, — спросила Кишмиш, — когда идут разбойничать, тоже должны молиться?

Ей ответили неясно. Ответили: — «Не говори глупостей». И Кишмиш не поняла, — значило ли это, что разбойникам не надо молиться, или что непременно нужно, и это настолько ясно, что и спрашивать об этом глупо.

Когда Кишмиш подросла и пошла в первый раз к

исповеди, в душе ее произошел перелом. Грозные и властные мечты погасли.

Очень хорошо пели постом трио «Да исправится молитва моя».

Выходили на середину церкви три мальчика, останавливались у самого алтаря и пели ангельскими голосами. И под эти блаженные звуки смирялась душа, умилялась. Хотела быть белой, легкой, воздушной, прозрачной, улетать в звуках и в дымах кадильных туда, под самый купол, где раскинул крылья белый голубь Святого Духа.

Тут разбойнику было не место. И палачу и даже силачу совсем тут быть не подходило. Уродина-страшилище встала бы куда-нибудь за дверь и лицо бы закрыла. Пугать людей было бы здесь делом неподходящим. Ах, если бы можно было сделаться святой! Как было бы чудесно! Быть святой — это так красиво, так нежно. И это — выше всего и выше всех. Это — важнее всех учительниц и начальниц и всех губернаторов.

Но как сделаться святой? Придется делать чудеса, а Кишмиш делать чудес ни капельки не умела. Но ведь не с этого же начинают. Начинают со святой жизни. Нужно сделаться кроткой, доброй, раздать все бедным, предаваться посту и воздержанию.

Теперь, как отдать все бедным? У нее — новое весеннее пальто. Вот его, прежде всего, и отдать.

Но до чего же мама рассердится. Это будет такой скандал и такая трепка, что и подумать страшно. И мама расстроится, а святой не должен никого расстраивать и огорчать. Может быть, отдать бедному, а маме сказать, что просто пальто украли? Но святому врать не полагается. Ужасное положение. Вот разбойнику — тому легко жить. Ври, сколько влезет, и еще

хохочи коварным смехом. Так как же они делались, эти святые? Просто дело в том, что они были старые, — все не меньше шестнадцати лет, а то и прямо старики. Они и не обязаны были маму слушаться. Они прямо забрали все свое добро и сразу его и раздали. Значит, с этого начинать нельзя. Это пойдет под конец. Начинать надо с кротости и послушания. И еще с воздержания. Есть надо только черный хлеб с солью, пить — только воду прямо из-под крана. А тут опять беда. Кухарка насплетничает, что она пила сырую воду, и ей достанется. В городе — тиф, и мама сырую воду пить не позволяет. Но, может быть, когда мама поймет, что Кишмиш — святая, она препятствий делать не будет?

А как чудесно быть святой. Теперь это такая редкость. Все знакомые будут удивляться:

— Отчего это над Кишмиш — сияние?

— Как, разве вы не знаете? Да ведь она уже давно святая.

— Ах! Ах! Быть не может.

— Да вот, смотрите сами.

А Кишмиш сидит и кротко улыбается и ест черный хлеб с солью.

Гостям завидно. У них нет святых детей..

— А может быть, она притворяется?

Какие дураки! А сияние-то!

Вот интересно — скоро ли начнется сияние? Вероятно, через несколько месяцев. К осени уже будет. Боже мой, Боже мой! Как это все чудесно! Пойду исповедываться на будущий год. Батюшка спросит строго:

— Какие у тебя грехи? Кайся.

А я ему в ответ:

— Ровно никаких, я — святая.

Он — ах! ах! Быть не может!

— Спросите у мамы, спросите у наших гостей — все знают.

Батюшка начнет допытываться, может быть, какой-нибудь, самый маленький, грешок есть?

А Кишмиш в ответ:

— Ни од-но-го! Хоть шаром покати.

А интересно — нужно будет, все-таки, уроки готовить? Беда, если нужно. Потому что лениться святому нельзя. И не слушаться нельзя. Прикажут — учись. Если бы еще сразу суметь делать чудеса. Сделать чудо — учительница сразу испугается, упадет на колени и урока не спросит.

Потом представила себе Кишмиш, какое у нее будет лицо. Подошла к зеркалу, втянула щеки, раздула ноздри, подкатила глаза. Такое лицо Кишмиш очень понравилось. Действительно — святое лицо. Немножко тошнительное, но совсем святое. Такого ни у кого нет. Теперь, значит, айда на кухню за черным хлебом.

Кухарка, как всегда перед завтраком, сердитая и озабоченная, была неприятно удивлена кишмишовым визитом.

— Чего барышням на кухню ходить? Мамашенька забраня́т.

Кишмиш невольно потянула носом. Пахло вкусной постной едой — грибами, рыбой, луком. Хотела, было, ответить кухарке «не ваше дело», но вспомнила, что она — святая, и отвечала сдержанно:

— Будьте добры, Варвара, отрезать мне кусочек черного хлеба.

Подумала и прибавила.

— Большой кусочек.

Кухарка отрезала.

— И будьте добры посолить, — попросила Кишмиш и завела глаза к небу.

Хлеб надо было съесть тут же, а то, пожалуй, в комнатах не поймут, в чем дело, и выйдут одни неприятности.

Хлеб оказался превкусным, и Кишмиш пожалела, что не спросила сразу два куска. Потом налила воды из-под крана в ковш и стала пить. Вошла горничная и ахнула:

— А я вот мамаше скажу, что вы сырую воду пьете.

— Так она — эва, какой кусище хлеба с солью съела, — сказала кухарка. — Ну, оно и пьется. Апекит к росту.

Позвали к завтраку. Не идти нельзя. Решила идти, но ничего не есть и быть кроткой.

Была уха с пирожками. Кишмиш сидела и тупо смотрела на положенный ей пирожок.

— Чего же ты не ешь?

Она кротко улыбнулась в ответ и в третий раз сделала святое лицо, — то, что приготовила перед зеркалом.

— Господи, что это с нею? — удивилась тетка. — Что это за гримасы?

— Они перед самым завтраком во какой кусище черного хлеба съели, — донесла горничная, — и водой из-под крана запили.

— Кто тебе позволил ходить в кухню и есть хлеб? — сердито закричала мать. — И ты пила сырую воду?

Кишмиш подкатила глаза и смастерила окончательно святое лицо, с раздутыми ноздрями.

— Что это с ней?

— Это она меня передразнивает! — взвизгнула тетка и всхлипнула.

— Пошла вон, скверная девчонка! — сердито сказала мать. — Иди в детскую и сиди весь день одна.

— Хоть бы скорее отправили ее в институт! — всхлипывала тетка. — Буквально все нервы. Все нервы.

* * *

Бедная Кишмиш!

Она так и осталась грешницей.

ГДЕ-ТО В ТЫЛУ

Прежде чем начать военные действия, мальчишки загнали толстую Бубу в переднюю и заперли за ней дверь на ключ.

Буба ревела с визгом. Поревет и прислушается — дошел ли ее рев до мамы. Но мама сидела у себя тихо и на бубин рев не отзывалась.

Прошла через переднюю бонна и сказала с укором:

— Ай, как стыдно! Такая большая девочка, и плачет.

— Отстань, пожалуйста, — сердито оборвала ее Буба. — Я не тебе плачу, а маме плачу.

Как говорится — капля камень продолбит. В конце концов, мама показалась в дверях передней.

— Что случилось? — спросила она и заморгала глазами. — От твоего визга опять у меня мигрень начнется. Чего ты плачешь?

— Ма-альчики не хотят со мной играть. Бу-у-у!

Мама дернула дверь за ручку.

— Заперта? Сейчас же открыть! Как вы смеете запираться? Слышите?

Дверь открылась.

Два мрачных типа, восьми и пяти лет, оба курносые, оба хохлатые, молча сопели носами.

— Отчего вы не хотите с Бубой играть? Как вам не стыдно обижать сестру?

— У нас война, — сказал старший тип. — Женщин на войну не пускают.

— Не пустают, — басом повторил младший.

— Ну, что за пустяки, — урезонивала мама, — играйте, будто она генерал. Ведь это не настоящая война, это — игра, область фантазии. Боже мой, как вы мне надоели!

Старший тип посмотрел на Бубу исподлобья.

— Какой же она генерал? Она в юбке и все время ревет.

— А шотландцы ведь ходят же в юбках?

— Так они не ревут.

— А ты почем знаешь?

Старший тип растерялся.

— Иди лучше рыбий жир принимать, — позвала мама. — Слышишь, Котька! А то опять увильнешь.

Котька замотал головой.

— Ни-ни за что! Я за прежнюю цену не согласен.

Котька не любил рыбьего жира. За каждый прием ему полагалось по десять сантимов. Котька был жадный, у него была копилка, он часто тряс ее и слушал, как брякают его капиталы. Он и не подозревал, что его старший брат, гордый лицеист, давно приспособился выковыривать через щелку копилки маминой пилочкой для ногтей кое-какую поживу. Но работа эта была опасная и трудная, кропотливая, и не часто можно было подрабатывать таким путем на незаконную сюсетку.

Котька этого жульничества не подозревал. Он на это способен не был. Он просто был честный коммерсант, своего не упускал и вел с мамой открытую торговлю. За ложку рыбьего жиру брал по десять сантимов. За то, чтобы позволить вымыть себе уши, требовал пять сантимов, вычистить ногти — десять, из расчета по сантиму за палец; выкупаться с мылом —

драл нечеловеческую цену: двадцать сантимов, причем оставлял за собой право визжать, когда ему мылили голову, и пена попадала в глаза. За последнее время его коммерческий гений так развился, что он требовал еще десять сантимов за то, что он вылезет из ванны, а не то, так и будет сидеть и стынуть, ослабеет, простудится и умрет.

— Ага! Не хотите, чтобы умер? Ну, так гоните десять сантимов и никаких.

Раз даже, когда ему захотелось купить карандаш с колпачком, он додумался о кредите и решил забрать вперед за две ванны и за отдельные уши, которые моются утром без ванны. Но дело как-то не вышло: маме это не понравилось.

Тогда он и решил отыграться на рыбьем жире, который, всем известно, страшная гадость, и есть даже такие, которые совсем его не могут в рот взять. Один мальчик рассказывал, что он как глотнет ложку, так этот жир у него сейчас вылезет через нос, через уши и через глаза, и что от этого можно даже ослепнуть. Подумайте только — такой риск, и все за десять сантимов.

— За прежнюю цену не согласен, — твердо повторил Котька. — Жизнь так вздорожала, невозможно принимать рыбий жир за десять сантимов. Не хочу! Ищите себе другого дурака ваш жир пить, а я не согласен.

— Ты с ума сошел! — ужасалась мама. — Как ты отвечаешь? Что это за тон?

— Ну, у кого хочешь спроси, — не сдавался Котька, — это невозможно, за такую цену.

— Ну, вот подожди, придет папа, он тебе сам даст. Увидишь, будет ли он с тобой долго рассуждать.

Эта перспектива не особенно Котьке понравилась.

Папа был нечто вроде древнего тарана, который подвозили к крепости, долго не желавшей сдаваться. Таран бил по воротам крепости, а папа шел в спальню и вынимал из комода резиновый пояс, который он носил на пляже, и свистел этим поясом по воздуху — жжи-г! жжи-г!

Крепость, обыкновенно, сдавалась прежде, чем таран пускался в ход.

Но в данном случае много значило оттянуть время. Еще придет ли папа к обеду. А может быть, приведет с собой кого-нибудь чужого. А может быть, будет чем-нибудь занят или расстроен и скажет маме:

— Боже мой! Неужели даже пообедать нельзя спокойно?

Мама увела Бубу.

— Пойдем, Бубочка, я не хочу, чтобы ты играла с этими дурными мальчишками. Ты хорошая девочка, поиграй своей куколкой.

Но Бубе, хотя и приятно было слышать, что она хорошая девочка, совсем не хотелось играть куколкой, когда мальчишки будут разделывать войну и лупить друг друга диванными подушками. Поэтому она хотя и пошла с мамой, но втянула голову в плечи и тоненько заплакала.

У толстой Бубы была душа Жанны д'Арк, а тут вдруг извольте вертеть куколку! И, главное, обидно то, что Петя, по прозванью Пичуга, младше нее, и вдруг имеет право играть в войну, а она нет. Пичуга презренный, шепелявый, малограмотный, трус и подлиза. От него совершенно невозможно перенести унижение. И вдруг Пичуга, вместе с Котькой, выгоняют ее вон и запирают за нею двери. Утром, когда она пошла посмотреть их новую пушечку и засунула палец в ее жерло, этот низкий человек, подлиза, на год мо-

ложе ее, завизжал поросячьим голосом и нарочно визжал ненормально громко, чтобы Котька услышал из столовой.

И вот она сидит одна в детской и горько обдумывает свою неудачно сложившуюся жизнь.

А в гостиной идет война.

— Кто будет агрессором?

— Я, — басом заявляет Пичуга.

— Ты? Хорошо, — подозрительно быстро соглашается Котька. — Значит, ложись на диван, а я буду тебя драть.

— Почему? — пугается Пичуга.

— Потому что агрессор — подлец, его все ругают, и ненавидят, и истребляют.

— Я не хочу! — слабо защищается Пичуга.

— Теперь поздно, ты сам заявил.

Пичуга задумывается.

— Хорошо! — решает он. — А потом ты будесь агрессор.

— Ладно. Ложись.

Пичуга со вздохом ложится животом на диван. Котька с гиканьем налетает на него и, прежде всего, трет ему уши и трясет его за плечи. Пичуга сопит, терпит и думает:

— Ладно. А вот потом я тебе покажу.

Котька хватает за угол диванную подушку и бьет ею со всего маху Пичугу по спине. Из подушки летит пыль. Пичуга крякает.

— Вот тебе! Вот тебе! Не агрессничай в другой раз! — приговаривает Котька и скачет, красный, хохлатый.

— Ладно! — думает Пичуга. — Вот все это я тебе тоже.

Наконец, Котька устал.

— Ну, довольно, — говорит, — вставай! Игра кончена.

Пичуга слезает с дивана, моргает, отдувается.

— Ну, теперь ты агрессор. Ложись, теперь я тебя вздую.

Но Котька спокойно отходит к окну и говорит:

— Нет, я устал, игра кончена.

— Как устал? — вопит Пичуга.

Весь план мести рухнул. Пичуга, молча кряхтевший под ударами врага, во имя наслаждения грядущей отплатой, теперь беспомощно распускает губы и собирается реветь.

— Чего же ты ревешь? — холодно спрашивает Котька. — Непременно хочешь играть? Ну, раз хочешь играть, начнем игру сначала. Ты опять будешь агрессором. Ложись! Раз игра с того начинается, что ты агрессор. Ну! Понял?

— А зато потом ты? — расцветает Пичуга.

— Ну, разумеется . Ну, ложись скорее, я тебя вздую.

— Ну, погоди ж ты, — думает Пичуга и со вздохом деловито ложится. И снова Котька натирает ему уши и лупит его подушкой.

— Ну, будет с тебя, вставай! Игра кончена. Я устал. Не могу я колотить тебя с утра до ночи, я устал.

— Так ложись скорей! — волнуется Пичуга, кубарем скатываясь с дивана. — Теперь ты агрессор.

— Игра кончена, — спокойно говорит Котька. — Мне надоело.

Пичуга молча распяливает рот, трясет головой, и по щекам его бегут крупные слезы.

— Чего ревешь? — презрительно спрашивает Котька. — Хочешь опять сначала?

— Хочу, стобы ты аг-ре-ссор, — рыдает Пичуга.

Котька минутку подумал.

— Тогда дальше будет такая игра, что агрессор сам бьет. Он злой и на всех нападает без предупреждения. Пойди спроси у мамы, если не веришь. Ага! Если хочешь играть, так ложись. А я на тебя нападу без предупреждения. Ну, живо! А то я раздумаю.

Но Пичуга уже ревел во все горло. Он понял, что торжествовать над врагом ему никогда не удастся. Какие-то могучие законы все время оборачиваются против него. Одна утеха оставалась ему — оповестить весь мир о своем отчаянии.

И он ревел, визжал и даже топал ногами.

— Боже мой! Что они здесь творят?

Мама вбежала в комнату.

— Зачем вы подушку разорвали? Кто вам позволил драться подушками? Котька, ты опять его прибил? Почему вы не можете играть по-человечески, а непременно, как беглые каторжники? Котька, иди, старый дурак, в столовую и не смей трогать Пичугу. Пичуга, гнусный тип, ревун, иди в детскую.

В детской Пичуга, продолжая всхлипывать, подсел к Бубе и осторожно потрогал за ногу ее куклу. В жесте этом было раскаяние, была покорность и сознание безысходности. Жест говорил: «Сдаюсь, бери меня к себе».

Но Буба быстро отодвинула куклину ногу и даже вытерла ее своим рукавом, — чтобы подчеркнуть свое отвращение к Пичуге.

— Не смей, пожалуйста, трогать! — сказала она с презрением. — Ты куклу не понимаешь. Ты мужчина. Вот. Так и нечего!

«НИГДЕ»

1

Дверь в залу была закрыта. В зале украшали елку.

А в маленькой гостиной, у запертой двери, томились дети, — свои, домашние, дети, и чужие, приглашенные на елку.

Никакая игра не могла их занять. Они думали только о том, что их ждет, когда раскроются двери.

Толстый, белый мальчик, с надутым обиженным лицом, говорит:

— Только подарили бы чего хорошего, чтоб не дрянь.

Черненький, задира с хохолком, отвечает:

— Мне-то подарят, а тебе-то нет. Мне подарят живую лошадь. Я умею на лошади ездить, а ты нет.

— Никогда ты на лошади не ездил, — говорит надутый.

— Не ездил, да умею. А ты, все равно, не умеешь.

— А моя мама умеет на пароходе ездить, — вступает в разговор маленькая девочка в короткой юбочке. Бант на ее голове больше этой юбочки.

Толстому мальчику неприятно, что такое ничтожество с бантом впуталось в их мужскую беседу. Он обрывает нахалку презрительной скороговоркой:

— Мама-то умеет, да ты не умеешь.

— Подарили бы мне рельсов! — мечтает чей-то тоненький голосок. — Хоть немножечко, да настоящих.

Худенькая девочка, с острым веснущатым личиком, вздохнула и сказала шопотом:

— Эти двери не откроются. Там ничего нет. Вот здесь стена откроется, там все и будет.

Дети повернули к ней головы с любопытством и недоверием. Она всегда врет. Ее так и называют Катя-вратя. Однако, все-таки, любопытно.

— Что же будет?

— Будет...

Она не знала, что сказать. Потом, точно вспомнила, широко раскрыла светлые глаза.

— Там будет все сделано из музыки. Двенадцать хрустальных кораблей и жемчужные лебеди.

— Врешь, — буркнул обиженный мальчик. — Из музыки делать нельзя.

— Нет, можно, — упрямо ответила девочка. — Возьмут музыку и напиливают смычком. А потом кусочки склеивают в разные штучки. И все там не такое. А самый хорошенький лебедь подойдет и подарится мне. Самый хорошенький. У него на ножках бриллианты. Он танцует и поет. И солнце там черное. От него бывает ночь.

Мальчик с хохолком удивленно задумался и вдруг сообразил и заскакал на одной ноге.

— Катя-вратя! Катя-вратя! Врет, врет, врет!

Веснущатая девочка прижала руки к груди.

— Это все правда, — повторяла она дрожащим голоском. — Это все правда. Я это даже видела во сне.

Двери открылись. Мамы, папы, тетки, — большие, шумные, веселые, — позвали детей. Свет, гул, звон, крик, музыка.

Когда детям роздали подарки, мальчик с хохолком увидел веснущатую девочку. Она стояла одна в углу

за дверью и задумчиво прижимала к груди большого носатого паяца в пестром платье с позументами.

— Ну, где же твой лебедь? — крикнул он. — Чего же ты врала, врунья?

— Вот лебедь, — отвечала девочка, еще крепче прижимая к себе паяца. — Вот он. Совсем жемчужный. Видишь? Из музыки.

Ее бледные глаза смотрели так честно и строго, что мальчик с хохолком растерялся и, чтобы выйти молодцом из неприятной истории, заскакал козлом вокруг елки и заорал во все горло:

- Катя-вратя! Катя-вратя!

* * *

Я знала эту девочку.

Она потом всю жизнь искала страну хрустальных кораблей и каждого шута горохового принимала за жемчужного лебедя.

2

У пристани старого порта русского северного города, на связке канатов, сидел мальчик. Худенький, с вытянутой шеей, мордочка острая, напряженная.

Он сначала сидел на тумбе, на которую накручивают причальные тросы, но его согнали грузчики.

Он пересел подальше, но и оттуда его согнали. Тогда он пересел снова на связку канатов. Если его опять прогонят, он пристроится где-нибудь на куче щебня, на груде мешков, на бочках, на досках или опять влезет на тумбу. Он привык, что его отовсюду гонят, и что он всем здесь мешает. Ничего не поделаешь. Он, все равно, не уйдет.

У него ноздри раздуваются, глаза блестят и бегают, как у мышонка, он облизывает губы, вертит острой мордочкой, впивает запахи.

Пахнет рыбой, смолой, морской гнилью и еще чем-то пряным, волнующим, незнакомым. Это запах того корабля, который сейчас разгружают. Бананы? Но они не так пахнут. Корица? Тоже нет. Это вообще небывалый запах, дыхание тех далеких земель, которых нет на свете.

Из маленького люка около кормы выплескивается вода. Ее откачивают из трюма. Где она попала в трюм, эта вода? Может быть, где-нибудь далеко-далеко, в стране «Нигде». Может быть, она и принесла с собой этот небывалый, чудесный запах.

Снизу гладкие стены корабля кажутся неприступными, беспощадно-высокими. И отражение волн дрожит сверкающей кружевной сеткой на его боках. Может быть, поймали его этой сеткой и держат. Как все чудесно!

Спросить у матроса — откуда пришел корабль?

Он ответит:

— Из Ямайки.

Или с Явы, или с Канарских островов.

Чудные, волнующие имена.

Но есть, наверное, еще какое-то, неизвестное, имя, которое можно услышать только в самом глубоком сне.

Один матрос рассказывал — мальчик слышал — что самое замечательное — это залезть на верхушку огромной средней мачты. Она всегда немножко качается, даже в самую тихую погоду. И вот, если смотреть оттуда, сверху, на мир, то увидишь необычайные вещи. Во-первых, сам корабль покажется маленьким, как подставка. И все морское дно, будь оно хоть на два километра глубины, видно, как на ладони. Там, на дне, гуляют чудовища: одноглаз, восьминог, петух-

рыба, пила-рыба, рыба-меч, морской кот, морской конь, морской еж. Все огромное, все страшное, не такое, как на земле. И есть такое место, где живут живые кораллы.

Мальчик видел в своей жизни кораллы. У тетки коралловая брошка, у матери коралловый браслет и серьги, у няньки — бусы. Но в море все эти брошки, серьги и бусы — живые. Ходят и разговаривают, а в хорошую погоду, может быть, и поют.

Матрос рассказывал много удивительного. Он был сильно пьян, его даже выгнали из кабака, поэтому он и рассказывал все откровенно, чего трезвые матросы ни за какие деньги не разболтают. Он рассказывал, как вся вода, со всех морей, течет к берегу Южной Америки. И всю добычу моря несет туда — и затонувшие корабли и утопленников — все. И там самая большая глубина, больше шести километров. И стоят там рядами все погибшие моряки, — за все время, что мир существует. И все в мундирах, с саблями в руках. Есть там и средневековые рыцари, и совсем древние греки с бородами в триста сажен, и наши всякие адмиралы с пушками. Матрос нарочно нырнул и все это высмотрел.

— Где такая страна, которой нет? — спрашивал мальчик у больших.

— Отстань! — отвечали ему. — Нигде.

Потом этот мальчик вырос и недавно рассказывал мне, как сидел в порту на свернутом канате и все думал, думал, пока не заболел. Но и теперь во сне часто качается на верхушке огромной мачты и чувствует, как ветер треплет ему волосы и несет его корабль в страну «Нигде», о которой он будто бы и наяву тоскует, но только наяву не понимает, что тоскует именно по ней, а всегда думает, что о чем-то другом.

3

Он очень худой и бледный. И глаза у него всегда грустные, даже когда он смеется. А смеется он, между прочим, много и охотно. Странно. Как-то не вяжется этот смех с его глазами.

Говорили, что в молодости пережил он сильное нервное потрясение. Да и было от чего. Гуляя по горам Швейцарии, сорвался в пропасть. Спутник успел во-время его подхватить, но он потерял сознание и потом долго хворал.

Об этой истории он теперь рассказывал мне:

— Я тогда был каким-то фантазером. Душа была беспокойная, точно дрожала от нетерпения. И все я искал чего-то. И все было не то и не то. И для меня как-то подходило лезть на горы. Кто делал горные экскурсии, тот знает, что нигде на земле не найдется таких быстрых смен впечатлений. На каждом подъеме, на каждом повороте — новое. И это как бы ступени к высшему, высшему в общем и в исключительном смысле. Так, каждый шаг — не просто передвижение, а искание, и достижение, и путь к цели неведомой. Так, по крайней мере, чувствуется, пока идешь.

И вот в тот день, в день катастрофы, может быть, я действительно был в особенно нервном настроении.

Пошел я в горы с одним местным жителем. Звали его Пьер. Было это около деревушки Сен-Женгольф, над которой две горы — Бланшар и Граммон, рядом. Мы поднялись из Граммон.

Подъем был нетрудный и недолгий, мы шли разговаривая. Потом Пьер отстал. Я шел задумавшись, повернул налево, к краю пропасти, поднял голову и замер. То, что я увидел, пронзило меня до крика. Как расскажу я? Ну, вот как: передо мной две скалы — Бланшар и Граммон — соединялись, образуя

огромную арку, ворота в небо. И там, через раскаленный янтарь заката, пылала невиданная, какая-то восторженная заря. И из нее, устремляя путь в триумфальную арку, летела, мчалась колесница, квадрига. Через золотые волны облаков. И перед ней, указывая ей путь, гремел пурпурный луч, как труба Архангела над разбушевавшимся морем оркестра.

Мне трудно рассказать. Здесь все, что было в моей жизни исканием, жаждой, томлением, все, что было красотой несовершенной, только манящей и обещающей, — все было завершено и поднято во всей страшной славе своей. И вынести это убогой человеческой душе было невоз-мож-но.

Я помню свой крик и мысль спешную и как бы деловитую:

«Надо закрыть глаза, а то «покажется», что ты падаешь. Потом будет сильный удар — это земля оттолкнет от себя...

И я поднял руки и чувствовал только, как дрожит в груди призывный трубный звон. И я закрыл глаза.

Так кончился мой полет в страну «Нигде».

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Дама, сдававшая Цензову свою квартирку на летние месяцы, оказалась типичной чирикающей крошкой.

— А здесь у вас балкончик, — чирикала она. — И вид прямо на море. Вам, как писателю, чего же лучше? Сидите, смотрите и вдохновляйтесь. А надоело море — смотрите в окошко на садик. У нас персики свои и сливы. Тоже можете вдохновиться. Вы тут у меня пять томов напишете. А вот диванчик. Можете сесть и помечтать, как говорится, пофантазировать. А надоест сидеть, можете встать. У нас вообще простота, у соседей даже петух есть. Вы, как писатель, отлично сможете вдохновляться, никто мешать не будет.

Цензов старался не слушать и смотрел в сторону, чтобы она по его глазам не увидела, как он ее возненавидел. Ему казалось, что он, как сказочный король, сразу, одним только взглядом, уложит ее на месте.

— Да вы выйдите на балкончик, — щебетала она, — взгляните! Разве может это дивное море не вдохновить вас?

Он встал одной ногой на балкон, стараясь не дышать, потому что, поднявшись на порог, она теперь была головой на уровне его лица, а от волос ее пахло какой-то ворванью с жасмином, и ему казалось, что если он поглубже вдохнет этого духу, то уж ничто

его не удержит, чтобы не треснуть ее кулаком по темени.

— Вот, значит, вдохновляйтесь, пишите. Только, пожалуйста, меня не описывайте.

Она игриво погрозила ему пальчиком, но взглянув на его лицо, вдруг побледневшее, с прыгающими под скулами желваками, растерялась, съежилась и, тихо пискнув, шмыгнула в переднюю.

— Наверное, сатир в душе, — думала она, переводя дух на лестнице. — И, без сомнения, пьющий.

А Цензов в тупом отчаянии смотрел на пол.

— Кончено! Все изгадила ведьма! Теперь ни строчки здесь не напишу.

* * *

Приехала жена с чемоданами и сыном Котькой.

— Балкончик! — обрадовалась она. — Какой душка балкончик! Котька, смотри, какой хорошенький балкончик! Боже мой, да отсюда все море видно! Котька, смотри, какое хорошенькое море!

Котька был слишком мал, чтобы со своего роста увидеть море. Он только прижал нос к перилам и сказал:

— Будем прямо отсюда купаться.

Цензов был мрачен.

— Чего ты такой? — недовольно удивилась жена. — Квартирка чудесная, сиди, пиши, никто тебе мешать не будет.

Цензов молчал, тряс ногой и думал.

— Никогда беда не приходит одна. Теперь эта ослица заблеяла «сиди, пиши». Значит, кончено. Значит, ни строчки здесь не напишешь.

Он встал и, не глядя на жену, пробурчал:

— Я ухожу.

Вышел на улицу. Куда идти — сам не знал. Если прямо под горку — придешь к морю.

— «Вдохновитесь... вдохновитесь». К чорррту море!

Лезть наверх, на гору? Тяжело.

В боковую улочку. Там стояла какая-то баба с кривоногой девчонкой, и обе с любопытством на него смотрели. Мимо них пройти невозможно. При одной мысли о том, как они повернут головы ему вслед, — сделалось сердцебиение.

— Вернуться домой и прямо сказать ей, что больше так жить нельзя?

Но для этого нужен был какой-то подъем, а он уже устал. И, главное, нужна была какая-нибудь внешняя причина, не та настоящая, глубокая, которую понимал только он один, а простой повод, к которому только бы прицепиться, придраться, а там уж пойдет по вдохновению.

Но ни обижать жену, ни расходиться с ней ему не хотелось. Душа хныкала, и он не знал, что ему делать. Пошел, было, к дому, потом повернул к морю, опять вернулся.

— Я форменно схожу с ума. Нужно взять себя в руки.

Повернулся и пошел домой.

Дома жены не застал. Котька тихо возился в коридорчике, изредка что-то выкрикивая. На столе ворохом лежали какие-то бумаги.

— Рукопись? Моя рукопись! Вот так, бухнули к чорту, все к чорту.

Но, в сущности, рукопись была в порядке, листы не разрознены. Ему стало неприятно, что не разрознены. Уж лучше бы все развалилось прахом — и кончено.

— Все равно, работать при таких условиях нельзя.

Просмотрел одиннадцатую страницу... Рассказ был начат бытовой, из русской деревенской жизни.

«... Много еще Пахомычу работы навертывалось, и за что хвататься, и сам не знал. То ли крышу старым тесом перелатывать, то ли под озимое поле свое начать перепахивать. Деревенские бы песни послушать — думалось ему — ан и это к случаю не спорилось».

— Погано написано, — решил Цензов. — Что за язык! Если бы это сам Пахомыч про себя рассказывал, ну, тогда ясно, тогда понятно. Но ведь это я, автор, про него говорю. Почему же я, интеллигентный человек, окончивший университет, говоря про мужика, непременно должен выражаться его же, мужицким, языком. Ведь глупо. Как про мужика, так непременно распевная речь, и все глаголы на конце. Почему не «Пахомычу навертывалась работа», а «Пахомычу работы навертывалось»? Почему для мужика глаголы нужны в конце фразы?

— Частица «цу» ставится на концу, — вдруг вспомнилась ему школьная выдумка.

С другой стороны, не подходит писать про мужика изысканным языком. Так же, как не подошло бы писать про Клеопатру мужицким. «Многое Клеопатре того-сего сделать нужно было. То ли Цезаря красою своею пленить, платьишками новенькими распотешить, то ли о делах своих раскумекать».

Не годится.

— Когда есть настроение, все идет и все годится. «Вдохновитесь, вдохновитесь...» У-у, гадина! Все от нее пошло. Не хочу писать про Пахомыча. Не хочу и не могу.

Входная дверь стукнула.

Он живо вытащил из кармана стило и сделал вид, что чиркает что-то в рукописи.

* * *

Когда Цензов буркнул «я ухожу» и мрачно вышел из дому, Вера вздохнула.

И чего он бесится? Кажется, все для него делается! И дачу-то эту для него сняли, чтобы никто не мешал ему работать. Непонятный человек. Ужасный характер. Может быть, он писатель-то неважный, а ведет себя, как гений, настоящей свиньей.

Нужно было купить что-нибудь к обеду.

— Котька, ты где? Сиди, пожалуйста, тихо, я сейчас приду. На улицу без меня не выходи.

Спустилась по боковой улочке к базару. Какая красота, какая радость на всем! Все такое южное, яркое, как на картинках «натюр морт». Вон баба продает морковку. Орет во все горло: «О, как она хороша, моя морковка!» И сама баба красная, рыжая, и видно, что орет не столько для того, чтобы товар продать, сколько просто от радости бытия, от того, что до горла наглоталась солнца, вольного ветра, ягодной плодовой яркости, густого духа очень горячей земли, и прямо нельзя не орать во всю свою силу:

—*Oh! Quelle est belle, ma carotte!*

Возвращаясь с базара, Вера сама себе усмехалась. Поднялась выше на гору, оглянулась и ах! — где море, где небо — не разделишь, не различишь! Единая голубая бездна. А посредине плыло длинное белое облако, неслось быстро и, казалось, сознательно устремлялось вперед, вытянулось, вытянуло тонкую зыбкую руку, и длинная дымная одежда неслась и стлалась за ним.

— Как Дух Божий на картине Айвазовского «Сотворение мира».

Всплеснула руками. Так взволновалась, что чуть не заплакала, и побежала домой.

— Скорее, скорее рассказать...

Цензов сидел у стола и чиркал что-то в рукописи.

— Вася! Голубчик! — закричала она, задыхаясь. — Какая красота! Ах, отчего ты не видел! Понимаешь — как Бог Саваоф над хаосом. И все синее-синее, а Он белый и несется, несется. Нет, я не могу объяснить, ты не можешь понять.

Он смотрел на нее тяжелым взглядом и, когда она договорила, сказал медленно и спокойно, как говорят только доведенные до бешенства люди:

— Да, я действительно не могу понять вас. Я не могу понять, как вы, видя, что я сижу и работаю, можете ворваться в комнату с какой-то вопиющей ерундой и оторвать меня от работы и разбить мне настроение. Что у вас нет уважения к творческому труду, это я допускаю. Потому что вы не можете понять, что такое творчество. В этом вы не виноваты. Но вы могли бы бережнее относиться к моей работе, которая кормит вас. Это-то вы, наверное, отлично учитываете.

Договорил и сам выпучил глаза в ужасе (— Этакая получилась пакость!).

Она задохнулась, хотела что-то сказать, но треск, грохот и громкий визг, донесшийся из передней, остановили ее.

В передней на полу лежала сорвавшаяся со стены вешалка с тремя пальто, пледами и шарфами. Из-под груды тряпья вылезал громко ревущий Котька и тер кулаком лоб.

— Я тебе сколько раз говорила, скверный мальчишка, чтобы ты не смел безобразничать! Куда ты лез? Зачем свалил вешалку!

— Я... я стлоил повонную лодку... у-у... — ревел Котька.

— Не смейте истязать ребенка! — закричал из своей комнаты Цензов.

— Ах, так, — обозлилась Вера и, схватив Котьку за шиворот, шлепнула его и потащила в кухню.

— Вот я тебя тут запру, и сиди, пока тебе мыши носа не отъедят.

Котька сидел на полу, смотрел в ужасе на черную отдушину под плитой (там, наверное, и живут мыши) и ревел во все горло. Он знал, что все его спасение именно в громком реве. Чем громче орать, тем скорее выпустят, потому что головы у них скорее разболятся.

А как чудесно строил он подводную лодку. Эта вешалка стоячая, с перилами и зеркалом наверху, была точно нарочно придумана для морского дела. Надо было только влезть наверх, зацепиться за крючки и начать грести руками, пока лодка не влезет в море. А море тут ведь близехонько. Он бы тогда и маму позвал с собой и папу. Но теперь все кончено. Он никогда не позовет их больше, они ничего не поняли, они е-го шлеп-ну-ли-и-и-и!

И ВРЕМЕНИ НЕ СТАЛО

«Осталась последняя до утра».

Что это за фраза? Все время мысленно повторяю ее. Навязла. Надоела. Но это у меня часто бывает. Или фраза, или мотив. И мучит.

Открываю глаза.

Старуха на коленях растапливает печку. Щепки потрескивают.

> И трещит моя печь, озаряя в угле
> За цветной занавеской кровать.

Сколько раз я это пела.

У моей кровати цветная занавеска собрана в сборку, просвечивают яркие пунцовые розаны.

Старуха в коричневой шали, в темном платке на голове, вся скорчилась, собралась в один комок, дует на щепки, гремит железом. В окошке, вижу, играет солнце на замерзшем стекле.

> Только станет лучами с морозом играть...

Все, как в песне. А как дальше? Ах, да:

> И кипит самовар на дубовом столе...

Да, вот и самовар кипит в углу на столе. Легкий пар идет из-под крышки. Кипит, поет.

Вдоль по лавочке ходит петушок. Подошел к окну, загнул головку бочком, заглянул и защелкал коготками. Пошел дальше.

А где же кот? Без кота мне не прожить. А вот он где, на столе за самоваром, греется, жмурится. Толстый, рыжий.

Кто-то застучал в сенях. Обивает снег с валенок. Мягко тупают валенки. Старуха тяжело поднялась, пошла вперевалку к дверям. Лица ее я не вижу, да ведь, все равно, я же знаю ее...

Спрашиваю:

— Кто там пришел?

Отвечает:

— Да этот, как его...

Слышу разговор. Старуха говорит с порога:

— Что ж, можно будет зажарить.

И вот в руках у нее, вниз головой, огромная птица — черная, с толстыми красными бровями. Глухарь. Охотник принес.

Надо вставать.

У кровати мои белые валенки. Милые белые валенки. Давно-давно кинематографическая фирма Ханжонкова устраивала в Петербурге охоту для группы артистов, писателей и их друзей. Повезли нас в Тосно по белому, твердому снегу охотиться на лосей. Длинный обед с шампанским, весело. Рано утром на розвальнях покатили на опушку леса. Мне так нравились мои белые, остроносые лыжные валенки. И помню свою белую шапочку. На снегу ни ног, ни головы видно не будет. Ни один зверь не признает меня за человека. Это я сама придумала такой охотничий трюк.

Какой-то распорядитель поставил нас на места. Запретили курить и разговаривать. Но мы решили, что немножко-то можно. Я стояла с писателем Федоровым. Слышно было «-а-а-а...» — крик загонщиков. Потом выяснилось, что лоси подходили, посмотрели на нас через кусты и ушли. Мы им не понравились. Вместо лосей, выскочили зайцы. Один как раз против меня. Бежал не быстро, а от куста к кусту, хитрил, не то удирал, не то прятался. И вдруг Федоров вскинул ружье и прицелился. Я крикнула: «Не сметь!» — раскинула руки и прыгнула перед дулом его ружья. Он заорал еще громче, что-то вроде «ду-у-у», веро-

ятно, застрявшее в горле «дура». «Ведь я же мог уложить вас на месте!» Но не беда, что орал. На этой охоте главное дело было — спасти зайца. И белые, узенькие, ловкие валенки приплясывали на снегу.

Потом они у меня пропали. Их украл и пропил муж горничной, безработный пьяница. И вот теперь эти валенки опять со мной. Стоят так просто у постели. Я сунула в них ноги и пошла в чуланчик, одеваться.

В чуланчике узенькое окошко, на стене зеркальце. Смотрюсь. Странная я какая-то. Лицо у меня, как на детской фотографии. Право, точно мне четыре года. И улыбка лукавая, с ямочками. А волосы-то, волосы стриженые, с челочкой, светлые, шелковые, облегают голову. Вот такие были они, когда я гуляла с няней по Новинскому бульвару. И я хорошо знаю, какая я была. Когда мы спускались по парадной лестнице, на площадке, в большом зеркале, отражалась девочка в каракулевой шубке, белых гамашах и белом башлыке с золотым галуном. А когда девочка высоко подымала ногу, то видны были красные фланелевые штаны. Тогда все дети носили такие красные штаны. А за ее плечом отражалась такая же фигурка, только поменьше и пошире. Младшая сестра.

Помню, мы играли на бульваре, все такие маленькие девочки. Остановились как-то господин с дамой, смотрели на нас, улыбались.

— Мне нравится эта в чепчике, — сказала дама, указывая на меня.

Мне стало интересно, что я нравлюсь, и я сейчас же сделала круглые глаза и вытянула губы трубой, — вот, мол, какая я чудесная. И те, господин с дамой, долго мне улыбались.

Там же, на милом Новинском бульваре, болтался большой мальчик, лет восьми, нехороший, шалун и

драчун. Аркаша. Он как-то залез с ногами на спинку скамейки, задрал нос, заважничал и высунул мне язык. А я стояла и не боялась его, большого, и громко дразнила:

— Аркаша каша! Аркаша каша!...

А он отвечал:

— А ты маленькая плевка.

А я не боялась и знала, что всегда буду высмеивать злых драков, как бы высоко они ни залезали.

И была еще гордая минута первого торжества моего честолюбия. Все на том же бульваре. Мы проходим мимо нашего дома, и няня показывает на балкон. Там стоит толстая, короткая фигура.

— Смотри, ишь, Эльвира Карловна вышла воздухом подышать.

Это наша бонна. Мы, маленькие, звали ее просто «баба», уж очень ее имя было для нас трудно. И вдруг я осмелела:

— Ирвиркарна! — закричала я. Не «баба», а как большая. — Ирвиркарна! — во весь свой звонкий голос, пусть все слышат, что я умею говорить, как большая. — Ирвиркарна!..

Я, значит, была честолюбивая. С годами это прошло. А жаль. Честолюбие — сильный двигатель. Сохрани я его, я бы, пожалуй, проорала что-нибудь на весь мир.

И как все чудесно было на этом бульваре. Всегда почему-то ранняя весна. Булькают подтаявшие канавки, точно льют воду из узкого флакончика, и вода пахнет так пьяно, что хочется смеяться и топотать ногами, и мокрый песок блестит кристалликами, как мелкий сахар, так что хочется взять его потихоньку в рот и пожевать, и мои вязаные рукавички напитались воздухом. А сбоку, у дорожки, тонкий зеленый

стебелек вылез и дрожит. А на небе облака кружатся барашками, как на картинке в моей книжке о девочке-дюймовочке. И воробьи суетятся, и дети кричат, и все это подмечается одновременно и безраздельно, все вместе, и выражается одним возгласом: «Не хочу домой!».

Вот тогда у меня и были эти светлые, шелковые волосы. И теперь вдруг такие же. Странно. Нет, что же тут странного? В этом домике, где петушок ходит по лавочке, это так просто.

Ну, вот теперь надену шапочку, ту, что была на охоте, и побегу на лыжах.

Вышла на крылечко. Вот тут и лыжи, стоят дыбом у стенки. Ни старухи, ни того, охотника, нет. Живо всунула ноги в ремешки, взяла палки, оттолкнулась и покатила по уклону.

Солнце, редкие сухие снежинки. Падает такая на рукав и не тает, а сдувается несмятым кристалликом. И как мне легко. Меня держит воздух, меня несет счастье. Я всегда знала и много раз говорила, что счастье — это не удача, не достижение, счастье — это просто чувство, ни на чем не основанное, ничем не объяснимое.

Вот, помню, было раннее утро. Всю ночь я простояла на коленях, растирая ногу тяжело больного. Я вся застыла и дрожала от жалости и утомления, когда шла домой. И вот, проходя мост, остановилась. Город только что начал просыпаться. На набережной пусто. Только крючница, какую, кроме как в Париже, уж, наверное, нигде не увидишь, — молодая, ловкая, перетянутая красным кушачком, в розовых чулках, выуживала длинным прутом рваные тряпки из мусорных ящиков. Небо, еще без солнца, чуть-чуть розовело на востоке, и легкая, свинцовая дымка, точно растуше-

ванный карандашный мазок на алой пропускной бумаге, обозначала место, откуда прорвутся лучи. Вода внизу не текла, как обычно ей полагается, а как-то крутилась плоскими воронками, словно все на одном месте. Вальсировала. И какой-то тихий звон радостно дрожал в воздухе, — может быть, звон моей усталости. Не знаю. Но вдруг чувство неизъяснимого счастья пронзило меня — чудесно, до боли в груди, до слез. И шатаясь от усталости, смеясь и плача, я запела:

Где б ни скиталась я душистою весною...

За спиной шорох. Это охотник. Вот он рядом со мной. Мне знакомо его лицо, его фигура, движения. Наушники спущены, виден только профиль. Кто же это?

— Слушайте, — говорю, — ведь я вас знаю.

— Ну, конечно, — говорит он.

— Я только не могу точно припомнить.

— Да и не надо. На что это вам? Именно помнить-то и не надо...

— Постойте, — говорю я. — Что такое меня мучит? Какая-то фраза... «Осталась последняя до утра». Что это может быть? Что-то противное.

— Ну, не надо, не надо, — говорит он.

Я долго хворала, и у меня плохая память. Но помню — записала: хочу еще раз услышать увертюру «Лоэнгрина», поговорить с одним замечательным человеком и увидеть восход солнца. Но и «Лоэнгрин» и восход солнца были бы для меня теперь слишком сильны. Понимаете? А замечательный человек уехал. Ах, помню последний восход солнца, где-то во Франции. Заря заалела, наливается винным отливом. Сейчас взойдет солнце. Птицы волнуются, щебечут, кричат. Одна какая-то пичуга звонко, настойчиво повторяет по-фран-

цузски: «Вит, вит, вит...» Торопит солнце. Ждать надоело. Я ей отвечаю, в укор солнцу, конечно, тоже по-французски, раз птица француженка: «Il n'est pas pressé». И вдруг выкатилось — круглое, желтое, точно запыхавшееся и сконфуженное, что запоздало. И главное, не там, где я его ждала и наметила, а гораздо левее. Вылетели мошки, птицы замолчали и пустились на охоту.

Ужасно забавна поэтическая выдумка о том, что птички встречают восторженным гимном восход царственного светила. Это вообще беспокойный, болтливый народ. С какой суетней просыпаются, с такой и укладываются спать, и тут уж гимна светилу не придумаешь. Помню, в Варшаве, на какой-то площади, было такое воробьиное дерево. По вечерам собиралась публика смотреть, как воробьи укладываются спать. Они налетали стаями и крик и хлопотню поднимали на всю площадь. По интонации их щебета можно было понять, что здесь и перебранка, и ссоры, и потасовка, и просто бестолковая болтовня. И, наконец, все успокаивалось, и воробьи размещались на ночь.

Впрочем, напрасно я упрекнула птиц в болтливости. Каждой птице отпущена от природы одна звуковая фраза: «Кукареку», или «Чивик квик», или просто «Куку». И вот извольте этим несложным звуком добиться, чтоб вас поняли. Сколько времени приходится долбить. Представьте себе, что нам, людям, тоже, судя по породе, была бы отпущена только одна фраза. Одни говорили бы: «Чуден Днепр при тихой погоде». Другие: «Который час? Который час?». Третьи: «Угол падения равен углу отражения». И вот попробуйте при помощи одной такой фразы восторгаться Сикстинской Мадонной, говорить о братстве народов и просить денег взаймы. Впрочем, может быть, все это

именно так у нас и происходит, только мы не отдаем себе в этом отчета.

Ах, восходы, восходы. Какие они бывают разнообразные, и как я их всякие люблю. Помню один. Я его долго ждала, почему-то ужасно томилась. И на востоке была сизая полоска или легкий облачный туман. Я, как древний гимиар, солнцепоклонник, вздымала руки и заклинала:

Солнце, бог наш! О, где ты! О, где ты!
Мы твоими цветами одеты.
Наши руки к лазури воздеты.
Мы зовем, мы взываем, мы ждем...

И вдруг зазвенел в свинцовом тумане оранжевый уголек, раскалился, вздулся, и, злобный, медно-рдяный, медленно поднялся лик, пламенеющий яростью, дрожа и ненавидя. Вот какой бывает восход...

И был еще один, очень забавный.

В сизой точке вдруг проткнулась круглая дырочка. Совсем, словно «глазок» в театральном занавесе, через который актеры смотрят, набралось ли достаточно публики. В этот небесный глазок заглянул желтый, горячий глаз и спрятался. И через секунду, словно решив — пора! — выскочило солнце. И это вышло очень забавно.

А закат всегда печальный. Пышный бывает, роскошный, как насыщенный жизнью ассирийский царь, но всегда печальный, всегда торжественный. Смерть дня.

Все, говорят, в природе мудро, — и павлиный хвост работает на продолжение рода, и красота цветов прельщает пчел для опыления. На какую же мудрую пользу работает печальная красота заката? Зря природа потратилась.

Охотник опять рядом со мной.

— А где же ваше ружье?

— Здесь ружье.

И правда, вижу ружье за его спиной.

— А собака?

— Вот собака.

И собака выбежала откуда-то сбоку. Все, как по заказу.

Надо что-нибудь сказать охотнику.

— Вам нравится мой домик? Знаете, когда стемнеет, мы зажигаем лампу.

— Няня зажигает? — спросил он.

— Няня? Ах, да, ведь старуха — это няня, — вспоминаю я.

Няня... Она умерла в богадельне. Старенькая была. Когда я ее навещала, она спрашивала:

— А какие это такие мнуки бывают? Все ко мне какие-то деревенские приходят и говорят: «А мы, бабушка, твои мнуки».

Я объяснила:

— А это дети вашей дочки Малаши.

Эта Малаша была у нас горничной, когда я была ребенком.

Помню до странности ясно. На подоконнике рассыпаны иголки, и я глажу их руками. Они мне страшно нравятся. И кто-то говорит:

— Люля рассыпала иголки.

Я слышу, но не понимаю, что Люля — это я. Потом меня поднимают, я трогаю пухлое плечо, туго обтянутое розовым ситцем. Это, знаю, Малаша. А иголки и все острое, блестящее, полюбила на всю жизнь. Может быть, тогда и полюбила, когда еще не понимала, что Люля — это я. Мы говорили о няне. Старенькая была. Вот теперь она в домике. Вечером зажигает

лампу, окошечко с улицы светится оранжевым, и приходит из лесу лиса. Подойдет к окошечку и поет. Вы, небось, никогда не слышали, как лиса поет? Это прямо замечательно. Конечно, не Патти и не Шаляпин, но много интереснее. Ласково поет, фальшиво, прямо завораживает, и тихонько-тихонько, а слышно. А петушок стоит с той стороны на лавочке, гребешок на свету просвечивает малиновым золотом. Стоит в профиль и виду не подает, что слушает. А лиса поет:

— Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Чесана бородка,
Масляна головка,
Выгляни в окошко.

А он застучит коготками об лавочку и пошел прочь. Вам бы хоть раз послушать, как лиса поет.

— Ночью поет, — говорит охотник, — а вы ведь ночь не любите.

— Откуда вы знаете? А вы меня, вообще, давно знаете? Почему я как-то плохо помню вас, а вместе с тем, уверена, что хорошо вас знаю?

— Не все ли равно, — отвечает он. — Считайте, что я просто собирательное лицо из вашей прошлой жизни.

— Но если вы — собирательное лицо, то почему же вы охотник?

— Потому, что все девочки вашего поколения были влюблены в гамсуновского лейтенанта Глана. И потом всю жизнь во всех искали этого Глана. Искали мужество, честность, гордость, верность, глубокую, но сдерживаемую страсть. Ведь искали? Отрицать не можете.

— Подождите. Вы говорили, что я не люблю ночь. Это правда. Почему? Не все ли равно. Тютчев объ-

яснил — вероятно, так оно и есть. А какая тоска от звезд. «Звезды говорят о вечности». Это-то и есть ужас. Считается, что если страдающий человек посмотрит на звезды, говорящие о вечности, то сейчас же почувствует себя ничтожеством и успокоится. Вот чего я совсем не понимаю. Почему обиженному жизнью человеку приятно его окончательное унижение — почувствовать себя ничтожным? Кроме горя, тоски и отчаяния, получай еще последнее — плевок от вечности. Ты тля. Утешайся и радуйся, что хоть такое поганое местишко, а все-таки, на свете ты занимаешь. Мы смотрим на звездное небо, как мышка через щелку на пышный бальный зал. Музыка, огни, сверкающие видения. Странные ритмические движения кругами, сходящимися, расходящимися, двинутыми неведомой причиной для непостижимой цели. Красиво и страшно, очень, очень страшно. Можно, пожалуй, сосчитать, сколько кругов сделает то или другое сверкающее видение, но смысла его понять нельзя, и это страшно. То, чего мы не понимаем, всегда чувствуется нами, как враждебное, как бессмысленная и жестокая сила. Мышка, хорошо, что «они» нас не видят, что в «их» роскошной, страшной и торжественной жизни мы никакой роли не играем. А вы заметили, что люди не смеют громко разговаривать, когда смотрят на звездное небо?

— А все-таки, звезды говорят о вечности, — сказал охотник.

— Вечность! Вечность! Какой это ужас! Какое ужасное слово «всегда». И такое же, с тою же вечностью, «никогда». Но мы почему-то больше боимся слова «никогда», хотя оно ровно то же, что и «всегда». Может быть, оттого, что в нем есть отрицательная частичка, каждому человеку, как запрещающая, ненавист-

ная. Но довольно об этом говорить. А то я затоскую. Вот мы как-то говорили о том, как невозможно представить себе бесконечность. А был с нами один мальчишка, так он сразу решил: «Очень, говорит, просто. Вот — представьте себе комнату, а за ней еще одну, и потом еще пятую, десятую, двадцатую, сотую, миллионную, и еще, и еще... Ну, надоест, и плюнешь, и ну их всех к чорту. Вот это и есть бесконечность».

— Какая у вас все путаница, — покачал головой охотник. — И вечность, и звездное отчаяние, и лиса поет, и мальчишка болтает.

— А по-моему, все так ясно. И мне хочется говорить без логики, без последовательности, как сложится. Вот как бывает после морфия.

— Именно после морфия, — сказал охотник. — Ведь и домика вашего никогда не было. Вы просто любили его рисовать.

— Слушайте, я устала, я больна, — не все ли равно? Ведь мы, вообще, всю жизнь выдумываем. Разве мы людей не выдумываем? Разве они в действительности все такие, какими нам представляются, или, вернее, мы себе представляем? Вот был у меня когда-то сон. Я пришла в дом к человеку, которого любила. И там встретили меня его мать и сестра, очень холодно встретили и все повторяли, что он занят, и не пускали меня к нему. И я решила уйти. И, уходя, увидела себя в зеркале и застонала. У меня оказалось толстое, затекшее лицо, крошечные косые глазки, а на голове шляпка со стеклярусом, как носили у нас когда-то старые мещанки, на плечах бурая пелеринка, на короткой шее гарусный замызганный шарфик.

— Боже мой! Отчего же я такая?

И тут же поняла. В этом доме меня видят такой.

И теперь я знаю: не найдется двух людей на свете, которые видели бы третьего одинаково.

— Вы большое значение придавали снам, — сказал охотник.

— О, да. Сны — это та же жизнь. Вот я видела и пережила много красивого, чудесного, замечательного и не все же удержала в памяти, и не все вошло необходимым слагаемым в душу, как два-три сна, без которых я была бы не та. А тот поразительный сон, виденный мной, когда мне было лет восемнадцать. Разве могла я его забыть? В нем как бы была предсказана вся моя жизнь. Снился мне ряд комнат, пустых, темных. Я все отворяла двери, проходила комнату за комнатой, искала выхода. Где-то заплакал ребенок и затих вдали. Его унесли. А я все иду, тоскую, и вот, наконец, последняя дверь. Огромная, тяжелая. Со страшным трудом, наваливаясь всем телом, отворяю ее. Наконец, я на воле. Передо мной бесконечная равнина, тоскливо освещенная туманной луной. Луна такая бледная, какою мы видим ее только днем. Но вот в мутной дали что-то поблескивает, движется. Я рада. Я не одна. Кто-то едет ко мне. Я слышу тяжелый конский топот. Наконец-то. Топот ближе, и огромная белая костлявая кляча, гремя костяком, подвозит ко мне белый, сверкающий парчею гроб. Подвезла и остановилась... Ведь этот сон — это вся моя жизнь. Можно забыть самый яркий эпизод, самый замечательный поворот судьбы, а такого сна не забудешь. Я и не забыла. Если химически разложить мою душу, то кристалики моих снов найдутся в анализе как необходимый элемент ее сущности. И сны многое, многое открывают.

— А домик ваш хорош, — прерывает он. — И хорошо, что вы до него добрались.

— Знаете, — говорю я, — у меня сегодня волосы такие же, как были в четыре года. И снег сегодня такой, как тогда. Я любила положить голову на подоконник, лицом вверх, и смотреть, как падает снег. Ничто на свете не дает такого покоя и тишины, как падающий снег. Может быть, оттого, что всякое падение сопровождается шумом, стуком, грохотом, и только снег, эта почти сплошная белая масса, падает беззвучно. И дает чувство спокойной, глухой тишины. И теперь часто, во время душевной тревоги, представляю себе этот падающий тихий-тихий снег. И всегда одна снежинка вдруг словно опомнится и кинется назад, вверх, зигзагами, пробирается, через толпу покорно падающих, опять к небу.

Охотник долго молчал, потом сказал:

— Вы говорили когда-то, что из ужаса жизни ведут пять дверей: религия, наука, искусство, любовь и смерть.

— Да, кажется, говорила. А знаете ли вы, что существует страшная сила, победить которую могли только святые и исступленные фанатики. Сила эта закрывает от человека все двери. Человек восстает на Бога, презирает бессильную науку, охладевает к искусству, забывает свою любовь, и смерть, это вечное пугало, является желанной и благостной. Сила эта — боль. Палачи всего мира и всех веков знали это. Страх смерти преодолевается разумом и верой. Страх боли побеждали только святые и фанатики.

— А вы чем преодолели страх смерти? Разумом или верой? — странно усмехнувшись, спросил он.

— Я? Моей теорией мировой души. Душа одна, общая для всех людей, животных и вообще всякой твари. Только возможность осознать ее и, главное, внешне выразить, различна, в силу физического стро-

ения данной твари. Собака совершенно так же различает добро и зло, как и человек, но выразить и, конечно, высказать этого не может. Кто внимательно наблюдал жизнь животных, тот знает, что и моральный закон заложен в них так же, как и в человеке. Вот мне вспомнился сейчас зайчик, маленький, глупый лесной зверек. Его поймали, и он быстро приручился. Все время вертелся около хозяев, и, если те ссорились, он страшно волновался. Он бегал от одного к другому и не находил себе покоя, пока те не помирятся. Заяц любил своих друзей и хотел для них мирной жизни. Именно для них, потому что сам-то он от их ссоры никакого убытка не терпел. Чужая, посторонняя злоба — дикого лесного зверька мучила. Он был носителем мировой души. Вот такое мое чувство души, а следовательно, и смерти. Возврат в единое. Таково мое озарение. Ведь это не математика, доказать здесь ничего нельзя. Для одних было озарением переселение душ, для других загробная жизнь с искуплением грехов, вечными муками раскаяния, для третьих, вот как для моей старой няньки, черти с крючьями. А мое вот такое. И еще могу вам рассказать об озарении. Расскажу вам легенду. Слушайте. Было одной женщине сонное видение. Будто стоит она на коленях и протягивает руки и душу к человеку, которого любила и которого уже нет. Жила она тогда во Флоренции, и, вероятно, под впечатлением Благовещенья Симоне Мартини, воздух этого сна был прозрачно золотой, пронизанный, как бы прорезанный золотыми лучами. И в этом небывалом золотом свете и блаженной напряженности любви был тот экстаз, которого человек больше одного мгновения вынести не может. Но времени не было, и мгновение это чувствовалось как вечность. Оно и было вечностью, потому что времени не

стало. Помните, в Апокалипсисе: «... И Ангел поднял руку свою к небу и клялся живущим вовеки, что времени уже не будет». И тогда поняла она, эта женщина, что вот такая и есть смерть: что-то крошечное, неделимое, как точка, мгновение, когда останавливается сердце и прекращается дыхание, и чей-то голос говорит: «Вот он умер» — это и есть вечность. А все надуманное загробное бытие, с терзаниями совести, раскаянием и прочими муками, — все это получаем мы еще при жизни. В вечности этой мелкой дребедени делать нечего. Слушайте, охотник, когда я буду умирать, я скажу Богу: «Господи! Пошли лучших Твоих Ангелов взять душу мою, от духа Твоего рожденную, душу темную, грешную, на Тебя восстававшую, всегда в тоске искавшую и не находившую...».

— Не нашедшую, — поправил охотник.

— Не нашедшую, — повторила я. — «И благослови, Господи, тело мое, по воле Твоей созданное, глаза мои, что смотрели и не видели, и губы, от песен и смеха побледневшие, и благослови лоно мое, плод любви приявшее, все по воле Твоей, и ноги мои...».

— Столько, о, столько целованные, — перебил охотник.

— Нет, я так не скажу. Я скажу просто: «Благослови, Господи, тело мое и отпусти в бессмертие земли Твоей. Аминь». Вот так скажу я.

— Да ведь вы же уже сказали! — громко закричал он. — Вы уже сказали!

— Сказала. Но ведь я еще не умираю.

* * *

Мои лыжи остановились. Я взглянула на свои ноги. Белых валенок на мне больше не было. Были высокие, до колен зашнурованные, желтые кожаные башмаки.

Очень знакомые. Я в них ездила на фронт во время войны. Мне стало странно тревожно.

— Я не понимаю, — сказала я.

Охотник молчал и вдруг чуть-чуть согнулся, напряженным движением всего тела двинул лыжи и быстро скользнул вперед. Здесь уклон. Вот он взлетел на горку и скрылся. Вот далеко мельнул на новом подъеме.

— А-а-а! — закричала я. — Вернитесь! Я не хочу быть одна!

Как его зовут. Как его позвать. Я не знаю. Но мне невыносимо страшно одной.

- А-а-а-а! Я боюсь...

Но, кажется, это неправда. Я не боюсь. Привыкла думать, что одной страшно. Я вернусь в свой домик. У меня есть на чем утвердить жизнь. У меня есть домик, который я нарисовала... Только холодно мне. Холодно.

— Вернитесь! А-а-а-а-а...

— Я здесь, я здесь, — говорит голос около меня. — Не кричите. Я здесь.

Я оборачиваюсь. Никого нет. Все белое-белое кругом. Лежит тяжелый снег. Уже не тот легкий, счастливый. Тихо позванивают, позвякивают тонкие стеклышки. Острая боль укола в бок. У самых глаз складки толстого передника с двумя карманами. Сиделка.

— Ну вот, — говорит голос, —последняя ампула. Теперь до утра.

Теплые пальцы обхватывают мою руку, сжимают. Чей-то голос говорит далеко-далеко:

— Боже мой. Да ведь у нее нет пульса...

У нее. Кто это «она»? Я не знаю. Может быть, та маленькая, с шелковыми волосами, которая не понимала, что Люля — это она.

Как ти-и-хо.

ВОЛЯ ТВОЯ

1

Гости собирались медленно. Был уже одиннадцатый час, и хозяйка начинала нервничать.

— Ужасная эта наша манера. Один придет после театра, прямо к ужину, а другой засядет с девяти и вымотает тебе всю душу, — говорила она, не отдавая себе отчета, что получается не совсем любезно по отношению к тем, которые именно засели с девяти.

Но это были старые друзья, с которыми нечего особенно церемониться, — три соратницы по бриджу, доктор Памузов, две молодые актрисы и жеманный отрок с прилизанными белокурыми волосиками и острой мордочкой, до того похожий на мышку-альбиноску, что даже удивляло, почему у него глаза не красного цвета.

Разговор плелся вялый, очередной интересной сплетни не навертывалось.

— А будет у вас сегодня эта Анна Броун? — спросила одна из дам.

— Право, не знаю, она забегала в четверг, — отвечала хозяйка. — У нее, по-моему, тут не совсем в порядке.

Она постучала себя пальцем по лбу.

— Можно быть рассеянной, но не до такой же степени. А то уж прямо анекдот. Сидела, сидела, вдруг вскочила, уставилась глазами в стенной календарь, —

мне, говорит, пора, пора. Чего вы, говорю, торопитесь? Нет, говорит, мне давно пора, вон уже шестое четверга. Господи, думаю, что она такое плетет? А она потерла себе висок, поморгала. Простите, говорит, мне показалось, что это часы.

— Ну, что за ерунда! — всколыхнулись дамы.

— Ну-ну, — покачал головой доктор Памузов. — Это уже клинический случай.

— А по-моему, ваша Броун просто дура и ломается, — громко отчеканила одна из дам, отличавшаяся от других огромной круглой брошкой, подпиравшей ей третий подбородок.

— Конечно, ломается, — хором подтвердили другие. — Вся изломанная. И почему она Броун, когда всем известно, что она просто Брунова?

— Ну, это эстрадный псевдоним, — заступилась хояйка. — Это уж так принято.

— Важен не псевдоним, а талант.

— Вот именно талант. А его-то у нее и нет.

— Конечно, нет. Ее создал Гербель.

— Таких пианисток, как она, сотни и тысячи.

— Если бы Гербель не написал о ней такой блестящей статьи...

— А по-моему, — покрывая все голоса прогудела дама с брошкой, — по-моему, ваша Броун просто дура и ло...

Она вдруг осеклась на полуслове и выкатила глаза, глядя в ужасе куда-то над головой хозяйки. Все оглянулись. Высокая смуглая дама стояла и, светски улыбаясь, нагнулась вперед, протягивая руку.

— Здравствуйте, дорогая.

Это была Анна Броун.

— Дорогая! Дорогая! — неестественно засуетилась хозяйка. — До чего я рада. Как это мило!

И все приветливо всколыхнулись, исподтишка испуганно спрашивая друг друга глазами: «слышала или не слышала?»

Доктор Памузов не вытерпел и затрясся смехом.

— Простите, вспомнил один анекдот. Ох, не могу! Потом расскажу. Уж очень смешно!

И он снова трясся, фыркал, кашлял и вытирал глаза.

И все сразу заговорили, перебивая друг друга.

— А мы думали, что вы уехали.

— Теперь ведь концертов нет.

— Ну, конечно. Мертвый сезон.

— Но, может быть, ученицы задерживают?

— Ну, что вы! Наверное, и ученицы все разъехались.

Получалось что-то совершенно нелепое. Все будто расспрашивали Анну Броун и тут же за нее и отвечали. А она спокойно стояла и слушала, точно и не о ней идет речь.

— Дорогая, дорогая! — волновалась хозяйка, бросая негодующие взгляды на трясущегося доктора. — У вас утомленный вид.

— Да, у меня все голова болит и как-то холодно.

— Холодно? В такую жару? Судя по газетам, было несколько случаев солнечного удара.

— Солнечного удара? — вдруг удивилась Анна Броун. — Как странно! Зимою, и вдруг солнечный удар.

— Почему «зимою»? Сейчас, в июне, а не зимою.

Анна Броун нахмурилась.

— Ах, да, конечно. Сейчас июнь. Я все спутала.

Подошли новые гости, и хозяйка кинулась их встречать.

Вечер оживлялся. Расставляли карточные столики. Две горничные, обе длинноносые, с белыми наколками, разносили чай и печенье.

Молодой человек, похожий на мышь-альбиноску,

подошел с двумя актрисами к роялю и, тихо перебирая клавиши, что-то томно замурлыкал.

Ана Броун круто повернулась и, сжав виски обеими руками, громко сказала:

— Господи! Только не музыку!

Но те не слышали и продолжали мурлыкать.

Анна стала тихонько пробираться к выходу.

Подходили еще новые гости, но знакомых как будто не было. Или, может быть, она не узнавала их. И вот какая-то женская фигура остановила ее внимание. Что-то в ней ужасно беспокойное и неприятное. Первое, что заметила Анна, было нарядное красивое платье, криво застегнутое на груди — на одну пуговицу две петли. Потом — плохо причесанные волосы. А лицо — лица точно не было. Было только невыносимо напряженное выражение неприятных темных глаз и большого усталого рта.

— Господи! Что в ней такое?

Анна подвинулась ближе. Подвинулась и та — ей навстречу. Ну, да. Это была она. Ее отражение в большом зеркале.

— Вот до чего можно дойти!

В передней, обставленной, как маленькая гостиная, дверь на лестницу была полуоткрыта. На площадке курили какие-то кавалеры.

— Идти домой? — громко спросила Анна, покачала головой и огляделась. У выходных дверей стояла кадка с экзотическим растением. Растение было чахлое, но кадка большая, и за ней уютно пряталось низенькое кресло.

— Вот здесь будет отлично.

Она села, подтянула к себе толстую плюшевую портьеру, висящую у окна.

— Отлично. Теперь можно будет думать.

Домой идти нельзя. Вчера вечером, подойдя к дому, она так испугалась, что села на тумбу и просидела — не помнит, сколько времени. Возвращаться домой иногда очень страшно. Две ночи тому назад пришла старшая сестра, села на кровать и сказала ласково: «Ну, чего ты так убиваешься? Ведь ты себя совсем изведешь». Эта сестра, умершая уже четыре года тому назад, никогда ее не любила, и было так странно, что она вдруг заговорила ласково. Была бы жива, только бы осудила. Но сама Анна знает, что осуждать тут нечего. Она права. И все, что она сделала, было глубоко продумано. Если бы она не ушла, он бы сам ушел, и было бы еще больнее. Она только ускорила событие, ограничила его своей волей. Это великое дело — ограничить своей волей. И почти никто этого не знает. Вот ей рассказывали про одного арестанта. Его камера была в шесть шагов длины. И каждый раз, доходя до стены, он хотел размозжить себе голову, так мучил его этот данный ему предел. Шесть шагов, и кончено. Тогда он решил делать только четыре шага. Ограничил своей волей и почувствовал себя свободным. Эти четыре шага — это моя воля. А ваших шести не желаю. Какова была бы ее жизнь, если бы она сохранила эти шесть шагов их отношений? Ждала бы, выслеживала, примечала. Позвонит или не позвонит. Зайдет или не зайдет. Пришлет билет в концерт или не пришлет. Позовет или не позовет. Но главная мука — приметы. О чем, например, заговорит после того, как задумался. Четыре раза было так, что задумается, очнется и скажет что-нибудь о Зарницкой. Он пишет о ней статью. Голос у нее действительно хороший, но почему над этим задумываться? Говорили, что он создал пианистку Анну Броун. Он написал о ней потрясающую статью. Но я-то теперь знаю, что не чисто

художественный восторг вдохновил его на эту статью. Кто же заставит меня верить в чистоту его восторга перед талантом этой певицы? Ну, да это все равно. Не в ней дело. Каждое увлечение, как брошенный к небу камень, достигает своей законной высоты и падает на землю. И чем напряженнее сила, толкнувшая его, тем тяжелее он падает. Я не стала ждать этого падения. Я не хотела, чтобы он, падая, убил меня, и ограничила этот взлет своей волей. Я ничего не знала, я только предчувствовала, и с меня было уже довольно. Дело в том, что все мы живем в двух планах! Один план — это наша бесхитростная реальная жизнь. Другой — весь из предчувствий, из впечатлений, из необъяснимых и непреодолимых симпатий и антипатий. Из снов. У этой второй жизни свои законы, своя логика, в которых мы неответственны. Вынесенные на свет разума, они удивляют и пугают, но преодолеть их мы не можем. Вот иногда судят человека, проведшего добрую и честную жизнь, и не могут докопаться, что именно толкнуло его на преступление. И он плетет всякую ерунду, выгораживая себя, потому что страшные законы второго плана его жизни в жизни реальной необъяснимы и потому и неприемлемы.

Она вдруг отчетливо представила себе тот последний вечер. Он сам позвал, и она пришла искусственно подвинченная, лживая, веселая, яркая. Он честолюбив — она наговорила ему столько лестного, передала всякие чудесные отзывы о его статьях, приукрашая, привирая, назвала несуществующих завистников и остроумно их высмеяла. Рассказала о письмах и цветах, которые посылает ей редактор журнала, где работал Гербель. И ему льстило, что она отвергает ради него такого интересного и полезного поклонника. Он улыбался самодовольно и кокетливо и поглаживал

себя по голове. Потом встал, обнял Анну, посадил ее на диван и опустился перед ней на колени. Обычный ритуал их любовных вечеров. И когда она подумала эту фразу об обычном ритуале, сразу поняла: «Пора. Довольно. Вот теперь, когда он весь мой, ограничу нашу близость своей волей». Он обнимал ее ноги, зарываясь лицом в ее колени, и она сразу, резким движением, двумя руками оттолкнула его. Он поднял голову, растерянно взглянул на нее. И это лицо, с раздутыми ноздрями, со взбухшей поперек лба темной жилкой, было испуганно и жалко. И немножко противно.

Она поднялась, поправила волосы и сказала так просто и естественно, что сама поверила своему голосу:

— Ну, довольно. Неужели вам все это еще не надоело? Удивляюсь!

Она, не торопясь, вышла из комнаты, приостановилась в дверях и сказала, не оборачиваясь:

— Я, может быть, на-днях позвоню вам.

Он не провожал ее и ничего не ответил. С тех пор они не встречались.

Все удалось отлично. И то, что лицо его показалось противным, было как нельзя более кстати. Это облегчало ее задачу. Плохо только одно: придя домой, торжествующая, посмеивающаяся, она, все-таки, как-то невольно прислушивалась, не позвонит ли телефон. И так же было беспокойно на следующий день. И еще хуже дальше. Вся беда в том, что оставалась надежда. Надо было сделать так, чтобы надеяться было невозможно.

Ее улица тихая, но каждый проезжающий автомобиль казался автомобилем Гербеля. Каждый телефонный звонок мог быть его звонком. Она перестала ходить в концерты. Она боялась бывать у знакомых, чтобы случайно не услышать его имени.

Потом появилась эта навязчивая мысль о ключе. У нее остался ключ от его квартиры. Она пользовалась им, чтобы не будить лакея, когда приходила поздно.

Как быть с ключом? Вернуть по почте? Передать через швейцара? Все это было не то. Почему не то? Очевидно, потому, что это ставило какую-то уже совсем определенную точку. Конец. Если ей этой точки не хочется, значит, она на что-то надеется. Пока есть надежда, она не успокоится. Надо, чтобы надежды не было. Даже если она вернет ключ по почте или через швейцара — все равно, ей не будет спокойно. Все равно, она будет чего-то ждать, на что-то безобразно надеяться. Если бы он навсегда уехал или, еще проще, умер, тогда она была бы спокойна.

Вот можно было бы сейчас тихонько выйти на лестницу — никто бы не заметил, и дверь осталась бы, как сейчас, чуть приотворенная, но не защелкнутая. Перейти улицу. Так. Улица пустая. Но у его ворот, наверное, сидит дворник. Он не увидит. Он закутался в тулуп, воротник поднят выше головы, идет снег, шагов не слышно. Он заснул... Ах, да, они говорят, что сейчас лето. Все равно, дворники и летом в тулупах — им ночью всегда холодно. Как я скоро прошла весь переулок, завернула за угол. Налево Нева, туда смотреть не надо. Белой ночью Нева такая грустная, тихая, такая безнадежная, что вся сила души погаснет. А сила нужна. Надо приготовить ключ заранее, а то он непременно упадет и зазвенит. А вдруг его нет дома? Это совсем невозможно. Раз я решила идти, значит, он дома. Он спит.

Ну, вот. В квартире темно. Знакомый запах, такой всегда беспокойный. Папиросный дым, одеколон. Не в этом дело. Тот же дым и тот же одеколон в другой квартире будут совершенно другими. Там все просто,

здесь всегда все тревожно. Вот спальня. Портьеры задернуты, но свет сквозит между складок. Разглядеть бы — висит еще мой портрет, или он его снял. Не стоит глядеть. Мне безразлично. Я не проверять пришла, а ограничить все своей волей. Здесь, на столике, должно стоять синее блюдечко от моей чашки. Он почему-то любил его и сохранил, когда я чашку разбила. На нем запонки. Не надо думать об этом блюдечке. В нем какая-то противная нежность. На постель смотреть нельзя. Надо скорее подойти к туалетному столу и нащупать холодненький, длинненький, плоский предмет. И осторожно вытянуть лезвие. Теперь уже все просто. Это делают в перчатках, значит, на мне перчатки. Я быстро подхожу к кровати. Надо нащупать лицо. Нет. Свет как раз падает на подушку. Голова откинута. Это все так просто. Одно движение, одно мгновение. Ключ? Ключ брошу на стол в передней. Дворник спит, густой снег покрыл его плечи. Он ничего не слышал. И снег засыплет мои следы. И вот я вернулась и снова сижу на своем месте, за кадкой с чахлым растением. Но до чего я устала, и как меня всю трясет!

Какие-то оживленные возгласы.

— Ужинать! Ужинать!

Кто-то радостно смотрит на нее.

— Вот вы куда запрятались, — говорит хозяйка, — идемте скорее ужинать.

Анна встала, качнулась немножко в сторону. Все, весело переговариваясь, шли в столовую. И она со всеми.

— Садитесь, садитесь! Разрешите, хе-хе?

Все, как всегда. Всегда гости, подходя к накрытому столу, странно, по-звериному, оживляются, и каждому хочется что-то говорить — все равно, что.

— Ну, вот, хе-хе! М-да-м! Это чье-же место? Позвольте. Хе-хе!

Среди всей этой любезной чепухи Анна спокойно остановилась около своего стула, рядом с доктором Памузовым.

— До чего вы бледная, — сказал тот и даже брови нахмурил. — Надо бы вам немножко того, полечиться.

Горничная подбежала к доктору:

— Вас просят к телефону.

Гости продолжали бестолково усаживаться. Доктор скоро вернулся.

— Господа! Господа! — громко сказал он. — Очень грустная новость. Очень, очень грустная. Зарезали нашего бедного Гербеля. Сейчас телефонировали из больницы. Апендицит. Утром оперировали. Сам профессор Ивашов. Операция прошла хорошо, а сердце не выдержало. Сегодня в пять часов скончался.

Анна отчетливо расслышала слова «зарезали Гербеля». Она стояла, держась обеими руками за спинку стула. И тут вышло что-то странное. Стол, лампа над ним, — все вдруг поехало вправо. Она крепко уцепилась за стул и, так и не выпуская его из рук, упала навзничь.

2

Несмотря на спущенные жалюзи на окнах и балконной двери, в кабинете было жарко.

Обстановка именно такая, какая подобает серьезному врачу, директору санатории. Огромные книжные шкафы, в одном из них, за стеклянной стенкой, какие-то никелевые приборы. Письменный стол величиной с двуспальную кровать. На нем толстые тетради в твердых зеленых переплетах.

Доктор носатый, с волосами, так гладко припо-

маженными, что голова казалась облитой черным лаком. Глаза маленькие, острые, неприятные. Он привстал и подал Анне руку. На столе перед ним лежало письмо Памузова — Анна передала его утром через сиделку.

— Садитесь, — не предложил, а приказал доктор. — Вот на этот стул, лицом к свету. Ваше имя?

— Анна Брунова.

— Как?

— Брунова. Броун. Все равно. И вы же знаете, чего же вы спрашиваете?

— Спрашиваю, чтобы слышать, как вы ответите. Возраст? Сколько вам лет?

— Тридцать пять.

— Это значит сорок?

— Нет, это значит тридцать восемь.

— Отложите карандаш в сторону и не вертите ничего в руках. Вы отвлекаете мое внимание. Почему вы сказали тридцать пять?

— Так, по привычке.

— Ага! Это отлично. Эта привычка указывает на желание казаться моложе, то-есть лучше, на желание преуспеть в жизни. Желание нормальное, здоровое. Теперь вы понимаете, почему мы заставляем пациентов отвечать? Держите руки спокойно. Какое сегодня число?

— Двадцать восьмое... нет, двадцать девятое. Не помню. Знаете, доктор, этот старый прием очень глуп. Ни один нормальный человек не ответит вам сразу. Именно нормальный человек сначала удивится неуместности такого вопроса, а потом уж сообразит, для чего вам это нужно, и ответит.

— Не беспокойтесь, — усмехнулся доктор. — Все это учтено. На что вы жалуетесь? Спите хорошо?

У вас, конечно, был сильный нервный шок, от которого вам надо оправиться.

— Шок? Ровно никакого. Это вам, наверное, доктор Памузов высказал свои умозаключения. Просто, я хворала, и мне нужно отдохнуть, Вот он и послал меня сюда.

— Отчего у вас обстрижены волосы? Или вы всегда так причесывались?

— Был жар, волосы свалялись. Потом трудно было расчесать. И падали. Господи! Да какое вам до этого дело? Я здорова и хочу отдохнуть, и больше ровно ничего.

— Степень вашего здоровья буду определять я, а не вы.

— Я ужасно устала! Я ужасно устала! — проговорила Анна и с трудом остановилась, ей захотелось повторять эту фразу долго, бесконечно, всю жизнь.

Он посмотрел на нее внимательно и вдруг сказал просто и ласково:

— Да, я понимаю, голубчик. Вас дорога утомила и эта жара. Сегодня ужасно душно. Будет гроза. Все мои больные сегодня нервничают. Пойдите, отдохните, как следует, не ходите по солнцу, и на пляж вам не следует. Это потом успеете. Пойдите, голубчик, полежите. У вас хорошая комната?

— Хорошая.

— Ну, вот и отлично. Если что нужно, не стесняйтесь, все будет сделано.

Да, комната была хорошая. В третьем этаже. Окно выходило прямо на дерево, почти на верхушку его, густолиственную, темную.

— Что это за дерево? — спросила она горничную.

— Не знаю. Кажется, ихняя рябина, не то акация.

На Кавказе ведь все не по-нашенски. Только вы окно не открывайте — с ей букашки сыплются.

— Живу, как дриада, прямо в дереве, — думала Анна. — Но как же его зовут, это дерево! Ему подходит имя Розалинда. Милая Розалинда, новая моя подруга. Как-то нам поживется вместе с тобой?

Ночью было душно, открыла окно, и, действительно, посыпались в комнату какие-то жучки. Пришлось закрыть.

Спала эту ночь лучше, чем дома, но понимала, что это только пока еще не привыкла, пока думы еще не догнали ее.

Утром рано раскрыла окно. Ветка Розалинды всунулась прямо в комнату. Анна схватила эту ветку, как шершавую мохнатую лапу, и пожала ее.

— Здравствуй, Розалинда. У тебя теплая лапа. Будем жить вместе.

День был невыносимо душный. В комнате оставаться было трудно. Анна вышла на улицу и пошла к базарной площади.

Базар уже кончился. Пустые ларьки с остатками гнилых слив и мандаринов. Банановые шкурки под ногами и запах горячей пыли, хрустящей на зубах, как мелкий сахар. Посреди площади столпилась кучка народу. Стоят кружком, хохочут. Анна подошла. В центре круга, медленно переваливаясь, ходила медведица, грязная, бурая, обшарпанная, как старый половик для вытирания сапог. У медведицы в носу кольцо, защепленное цепью. Поводырь, огромный, черноносый, со щеками, покрытыми бурой, как у медведицы, шерстью, дергал цепь, приговаривая:

— А ну-ка, Шура Ивановна, покажи, как барыни в парке гуляют.

Медведица закидывала лапу за голову и шевелила боками. Зрители гоготали, мальчишки визжали. Шура Ивановна разевала огромную лиловую пасть, и видно было, что ей приятно нравиться.

— Шура Ивановна, — сказала Анна медведице. — Сестра моя, артистка Шура Ивановна! Тебя волнует одобрение зрителей? Милая ты моя, милая! Ведь и я когда-то так же волновалась.

— А ну, Шура Ивановна, — говорит поводырь, — попроси господ хороших отвалить нам по тыще на пиво да по миллиону на пряники.

И Шура Ивановна снова разинула свою лиловую пасть и, повернув лапу, протянула узкую, голую цыганскую ладошку. Тихо прорычав, словно хрюкнув, пошла, огромная, косолапая, вдоль круга.

Анне стало почему-то беспокойно и грустно. Она повернулась и пошла к дому.

Прошла мимо заколоченной лимонадной будки. Наклеенная на ней оборванная желтая афиша повисла старым слоновым ухом. Какая иногда тоска таится вот в таких пустяках. Вероятно, что-то напоминает. Конечно, умнее всего отвлекаться и не вспоминать.

И вдруг что-то ужасное остановило ее. У входа в санаторию стоял тот самый отрок, похожий на мышь-альбиноску, который был в тот вечер... Впрочем, ничего ужасного в этом нет. Но все-таки, ужасно, что он здесь...

Она отвернулась, втянула голову в плечи и скользнула в дверь. Как противно, что сердце так бьется. Ведь ничего же нет. Нервы. Да, ровно ничего не случилось, но уже успокоиться будет трудно.

В комнате тихо и, после улицы, полутемно.

На столе лежал завернутый в шелковую бумагу большой букет роз и письмо.

«Возлюбленная моя Анна Броун!

Прижмите к лицу эти розы. Не бойтесь. Вы не знаете меня и не узнаете. Я сегодня вечером уезжаю. Я не пропускал ни одного Вашего концерта. Я не только слушал, я и смотрел на Вас. Я Вас люблю, Анна Броун.

Н.»

Анна читала это странное письмо и вдруг почувствовала, что плачет.

— Чего ж я плачу?

И вспомнилось — читала, как в каком-то зверинце очень плохо кормили зверей. Назначили комиссию исследовать дело, и когда вошедший в клетку ветеринар погладил издыхающую львицу, с ней сделалась истерика. Нельзя нас, замученных, ласкать. Кнут и ругань — вот наш воздух. А нежности мы вынести не можем!

Она даже не развернула букета. Она сунула его в ящик комода, легла и стала думать.

— К обеду я, конечно, не спущусь. Там этот мышка-альбинос. Вообще, кажется, придется отсюда уехать. С доктором говорить нельзя. Он будет напирать на нервный шок. Памузов написал ему об обмороке при известии о смерти одного человека. Ну, что ж, уеду домой. Там по утрам стонут на крыше голуби. Желтозубый рояль притаился и ждет. Там будет молчать телефон. И все это, конечно, хорошо, потому что безнадежно. Что ж мешает мне жить? Я ведь не сумасшедшая. Я понимаю, я твердо знаю, что я не виновата. То-есть, с «их» точки зрения не виновата, потому что они не знают. Да если бы и знали, так не признали бы. Но я-то знаю, что я «сделала это». Теперь дальше. Да, сделала. Потому что так захотела. Сократила шесть шагов до четырех. А потом совсем оборвала...

В комнате стало темно. Или она заснула и сама не заметила? С ней иногда так бывает. И просыпаясь, сразу входит в круг тех же мыслей. Точно она и во сне думает все о том же.

Темно. Черный густой воздух. Сегодня особенно душно. Будет гроза. Такие ночи называют воробьиными, потому что воробьи, взлетая в этот насыщенный электричеством воздух, падают мертвыми.

Надо думать дальше. Надо продумать хоть раз все до конца.

Почему я решила, что он отходит от меня? Ну, за это говорили тысячи примет. Почему он не позвал меня, когда я ушла? Здесь два решения. Или он был очень оскорблен и ждал шага с моей стороны. Ну, конечно. Ведь я же сказала, что на-днях позвоню. Или был доволен, что так просто разделался со мной. Ушла, и слава Богу. Без всяких драм и объяснений. Нет. Это опять не то. Не мог он не думать, не задавать себе вопроса, что со мной случилось. Значит, первое решение верно. Глубоко обижен. Ждал шага с моей стороны. А шаг был невозможен, потому что пошло бы то же самое — и мои догадки, и приметы, и отчаяние. Нет, так все отлично. Единственный выход, единственная дверь. И я ее открыла.

Мохнатая лапа Розалинды прошуршала по стеклу. Ветерок?

Анна подошла к окну. В черном воздухе застыли черные ветки, чуть выделяясь там, где сквозь них просвечивало небо. Ветки были тихие-тихие, и только один листок, у самого окна, странно бился и дрожал. Только один, как жилка на шее у Анны.

— Розалинда! Неужели и ты мучаешься!

Лучше спуститься вниз. Там люди. А то как-то страшно.

Но внизу было пусто. Очевидно, все уже разошлись по своим комнатам. Только из маленькой гостиной доносились тихие оборванные аккорды. Анна толкнула дверь и вошла.

В комнате было почти темно. Только у рояля горела крошечная лампочка. Мышка-альбинос оперся локтем на клавиши и плакал. Потом вытер глаза и нос и, подбирая аккорды, тихо запел:

Мой пестрый попугайчик умирал,
Он глупый был в сравнении с другими,
Из слов земных одно он только знал,
Единственное слово — ваше имя.
И умирая, он мне завещал
Тоску по солнцу, солнц вселенной краше,
И слово то, которое он знал,
Единственное слово — имя ваше.

Кончил и снова заплакал.

— Как он не слышал, что я вошла? — удивилась Анна. — Бедный уродец.

— Мальчик! — окликнула она. — Чего вы убиваетесь?

Он громко вскрикнул.

— О-о-о! Вы испугали меня! Меня не надо пугать.

— Простите. Чего вы плачете?

— Я плачу оттого, что умер пестрый попугайчик.

— Он правда был у вас, или вы его сочинили в песенке?

— Нет, его никогда не было. И это тем больнее. Если бы он жил в реальном мире и умер, все было бы просто. Но он жил только во мне, даже нет, не жил, а просто умер во мне, и это перенести почти невозможно.

Он горестно высморкался.

— Вы лучше уйдите, — всхлипнул он. — Вы, все

равно, не поймете. А я хочу еще мучиться. Пожалуйста, прошу вас, уходите.

Она повернулась, прошла через пустую столовую и вышла на террасу. Справа, около входа в кухню, что-то гремело и словно стонало. Подошла ближе, рассмотрела. Это была медведица, Шура Ивановна. Ее привязали цепью к дереву, и она ходила вокруг. Сделает несколько шагов в одну сторону, цепь натянется, дернет ее, она рявкнет и повернет назад. Пройдет несколько шагов в другую сторону, цепь натянется снова, снова дернет ее, и снова она рявкнет и снова повернет. И видно, что уже давно ходит так, крутится, и не может поверить, и все надеется, что на этот раз цепь не остановит ее.

— Шура Ивановна! Шура Ивановна! — повторяла Анна. — Разве можно надеяться? Надо ограничить своей волей, только тогда и можно жить. Только те и живут на свете, кто сумел ограничить зло своей волей. Люди сильные духом уходили от мира в пустыню. Раз не может земная жизнь дать полной высокой радости — отрекались от нее и уходили в пещеры, в катакомбы, шли на муки и смерть, но мерзостного мира, с его малой радостью, не принимали. Какая в тебе тоска, Шура Ивановна, звериха несчастная! Видеть тебя не могу!

Она снова вошла в дом, поблуждала по темным комнатам, нашла лестницу и поднялась к себе.

Как прожить эту воробьиную ночь? Сил нехватит. Есть целая шкатулка с морфием, на случай невралгии. Но ведь сейчас ничего не болит. Морфия у нее много. Сорок ампул. Этого хватило бы на долгий, на вечный сон.

Она подошла к окну.

Все так же чернели лапы Розалинды, и так же нервно дрожал и бился один листок.

Чем преодолеть это разлитое в мире отчаяние?

Рассказывают, что если скорпиона окружить огненным кольцом, то он вонзает свое жало себе в грудь. Сам убивает себя. Ограничивает страдание своей волей.

Какая ужасная черная ночь! Вдали полыхнула зарница. Словно кто-то взглянул и закрыл глаза.

Она протянула руки и отвела тяжелую, упругую ветку. Теперь видно небо. Звезды. Звезды большие, маленькие, близкие, далекие, и есть еще такие, каких мы не видим, а только чувствуем.

Да, скорпион утверждает волю свою. А вдруг это...

Жуткая догадка вспыхнула, как та зарница, что только что всполыхнула черный мир.

А вдруг это не его воля, не скорпиона? Вдруг это воля того, кто окружил его огненным кольцом. «И волос с головы не упадет без воли Его».

Она судорожно закинула голову, еще дальше оттолкнула черные ветки и обвела глазами тысячезвездный круг бессмысленного для нас и беспощадного неба.

— Так вот, значит, кто окружил меня огненным кольцом!

Она отпустила ветки, повернулась, задумчиво зажгла лампу и вынула из чемодана небольшую шкатулку.

— Ну, что ж! Пусть скорпион вонзит жало в грудь свою.

Улыбнулась горько, словно плача, оттянув книзу углы рта.

— Если так, то да будет воля Твоя.

СЛЕПАЯ

День был тусклый, заплаканный.

Море серое, линючего цвета, сливалось с небом, но не казалось от этого безбрежным. Напротив, оно как будто кончалось где-то совсем близко, ползло мутной дымкой вверх и изнемогало в тяжелом тумане. Оно даже не плескало береговой волной. Совсем было стоячее, мертвое.

Померло море, скончалось.

На скамейке, поставленной боком к берегу, сидела дама в шляпке, в городском платье. Нездешняя. Здешние так не одевались.

Сидела она, отвернувшись от моря, и глядела вдоль аллеи. Здесь парк подходил к самому берегу. Скучно и недовольно смотрела она. Видно было, что ждет, и видно было, по вздрагивающим губам и нервно шевелящимся бровям, что мысленно составляет какие-то неприятные фразы.

Наискосок от нее, ближе к парку, сидела на скамейке пожилая женщина и, положив на колени покрытую бумагой дощечку, что-то выдавливала на ней палочкой.

Та, что отвернулась от моря, встала и пошла к берегу. Справа слышались голоса. Три молодых девушки в грубых коленкоровых рубашках, тесно ухватившись подруку, входили в воду. Шагали неуклюже, повизгивали. С берега кричал бабий голос:

— Не расчепляйтесь! Не заходите далеко! Окунитесь да и вылезайте. Я вам говорю, не расчепляйтесь. Потонете.

Кричала сидящая на камне востроносая старуха в белом платке.

— Да что вы, Дарья Павловна, — отзывались девушки. — Да мы же вместе.

— Что это за девушки? — спросила подошедшая.

— Наши слепые с приюту, — отвечала старуха и снова принялась кричать:

— Я вам говорю, поворачивайте к берегу! Вытаскивать вас некому.

Из-за кустов вышли еще три девушки. Эти были в серых ситцевых платьях с коленкоровыми пелеринками. Шли сцепившись подруку. Шагали вразвалку, спотыкаясь, поддерживая друг дружку. И вдруг запели:

«Ах, отворите! ах, отворите
Нам двери счастья в наш светлый рай».

Пели они просто и убедительно, как поют все русские прачки и городские мещанки. Один голос красиво вторил, два звенели в унисон.

«Ах, озарите, да озарите
Лучом приветным мой темный край».

Грустное небо, и тусклое море, и эта безотрадная слепая песня так согласно, все вместе, невыносимо мучили, что дама в шляпке побоялась встретиться с этими девушками, увидеть их лица, их страшные глаза. Она быстро вернулась к своей скамейке, села и стала смотреть вдоль аллеи. Аллея была пуста. Отвернула перчатку на левой руке, взглянула на часы.

— Опаздывает. Только этого нехватало!

Вынула из сумки сухарь, отломила кусочек, погрызла и вдруг, повернувшись, увидела. По аллее, не спе-

ша, шел худощавый господин среднего роста, в круглой соломенной шляпе.

Она быстро вынула из сумочки пудреницу, слегка отвернулась, но тут же злобно защелкнула коробочку.

— К чорту! Не стану.

Худощавый господин приостановился около женщины с дощечкой, что-то поговорил с ней и, не торопясь, подошел к ожидавшей.

— Вы опоздали минимум на полчаса, — сказала та, не здороваясь.

— Всего на четверть, — отвечал он, сморщив улыбкой впалые щеки.

— И еще нашли время завести знакомство с этой бабой.

— Это не баба, а очень культурная дама. Она работает для слепых. Переписывает для них «Анну Каренину».

— Ужасно, подумаешь, важна для этих дур Анна Каренина. Только Карениной им и нехватало.

— Но почему же вы так? — с ласковым укором сказал он. — Это же хорошо, что об этих несчастных заботятся.

— Спасибо, что вы меня учите, — сказала она дрожащими губами.

— И, знаете, это очень остроумно придумано. Понимаете, на этой доске сделаны желобки, и она вдавливает палочкой точки, располагая их особенно для каждой буквы. На другой стороне точки получаются выпуклые, и слепые ощупывают их пальцами и так и читают. Это страшно интересно.

— А я считаю, что это хамство, — отрезала она.

— Что? — удивился он. Почему хамство работать для слепых?

— Хамство заставлять меня ждать. Вы могли бы после моего ухода развлекаться Анной Карениной.

Он пожал плечами и сел.

— Ну, вы, я вижу, сегодня не в духе.

— Господи, до чего глупо! Вы, очевидно, решили глупостью поправить грубость, — пробормотала она и отвернулась.

Он нагнулся и добродушно заглянул ей в лицо.

— Подождите, — сказал он. — В чем дело? Расстроены нервы? Или я в чем-нибудь провинился? А?

Это «наигранное» добродушие окончательно обозлило ее. Не желая отвечать, она молча вынула из сумки сухарь и стала грызть.

— Почему это женщины вечно что-нибудь жуют? — улыбнулся он.

Надо же что-нибудь сказать. Вот и сказал. И пока говорил, уже понял, что замечание неудачно.

У нее побелел нос от злости.

— Женщины жуют, потому что они не успели даже выпить чаю... потому что не хотели заставить себя ждать... потому что у них есть деликатность... и теперь начнется мигрень. Вот почему женщины вечно жуют...

Она понимала, что говорит глупо, как последняя дура, и от этого злилась еще больше, но остановиться не могла. Словно катилась вниз по каким-то чортовым рельсам, упиваясь своим отчаянием, бессмысленным и злым.

— По-моему, уж лучше опоздать, чем так расстраиваться, — сказал он. — Через полчаса мы уже сможем получить завтрак.

Она посмотрела на его близко склоненное к ней лицо, увидела глубокие складки около рта и с левой стороны навинченный фарфоровый зуб с золотым

ободком. Этот зуб решил все дело. Не надо было видеть его. Он вставлен для красоты в этот блеклый, растянутый рот с лиловатыми углами губ. Он вставлен, чтобы нравиться, пленять, влюблять, чтобы бегали на его зов и ждали его, а он бы опаздывал, он бы позволял себе подшучивать над нервами. У-у! Гадина!

«Ах, отворите! ах, отворите
Мне двери счастья в мой светлый рай!» — звенели с берега печальные, не понимающие своей печали девичьи голоса.

Она снова взглянула на него и тут увидела последнее, переполнившее чашу: у него в петличку пиджака была просунута крупная конская ромашка.

— Украсился!

В порыве неизъяснимого отвращения, она выхватила цветок и швырнула его на скамейку.

— Пошлость! — задыхающимся голосом почти простонала она. — Вы весь такой! Весь! Весь! Уходите! Ради Бога, уходите... иначе я...

— Ну, хорошо, Вера Андреевна. Успокойтесь. Я уйду, раз я так вас раздражаю.

Он уже сделал несколько шагов, но приостановился в горестном недоумении.

— Я ничего не понимаю... Может быть, позволите, все-таки, проводить вас. Простите, я даже не знаю... Ну, Бог с вами...

Она нетерпеливо отвернулась.

Когда она подняла голову, он был уже далеко.

— Обернется или нет? Обернется или нет? Нет.

Словно тяжелая волна скатилась с ее головы, с плеч. В глазах потемнело, зазвенело в ушах, сердце стукнуло. Ну, вот и кончено. Точно вся она опустела. Так устала, так стихла.

— Ну что же это я наделала? Как грубо, как глупо! Чорт знает что! Что со мной было?

Ее всю затрясло странным, невеселым смехом.

— Господи, да я, кажется, плачу...

Было, вероятно, то, что, когда она ехала сюда, к морю, на свидание с этим милым, славным человеком, она думала о другом море, южном, солнечном, о веселых друзьях, о нарядном ресторане на набрежной, о молодой итальяночке, певшей страстным голосом под звонкую гитару: «L'amor e comme zucchero!», и о милых глазах, смотревших на нее восторженно и влюбленно.

«Ах, озарите вы, озарите
Лучом приветным наш темный край!» —

поют эти уродины под тусклым небом, и в горький туман плывет печаль их голосов.

Вот еще две вышли из боковой аллеи и идут к ее скамейке, где она сидит и плачет. Одна из них худенькая, черненькая. Глаза у нее совсем ушли глубоко-глубоко, и веки плотно склеены. Только черная полоска ресниц отмечает их место. Другая белобрысая, глаза у нее мутно серые, и оба скошены к носу. Эта курносая, пухловатая. Идут подруку. Говорит курносая, рассказывает плавным голосом:

— Такая это красота, что и описать нельзя. Море голубое-голубое, а вдруг рассердится и потемнеет. Ну, совсем тогда синее, и по нем белые морские баранчики прыгают, играют. И так оно красиво да весело, что некоторые матросы, так нипочем домой не хотят. А на берегу-то какая красота! Ни пером описать. Травка зелененькая, и в ней цветочки — и белые, и красные, и желтые, и синие. А над каждым цветочком пляшет бабочка. И какого цвета цветочек, такого цвета и бабочка.

— Чего же они пляшут? — недоверчиво спрашивает черненькая. — Им, поди, тоже есть надо.

— Да им поесть одна минутка. Глотнет росинку с цветочка, вот ей и все. И снова пляши.

— Да ведь ты же не видела, — вдруг раздражилась черненькая. — Ведь ты же от рождения.

— Мало что не видала. Я и так знаю.

— Да что у тебя все красивое да красивое. Этак у тебя и Дарья Павловна красивая.

— Дарья Павловна, как цветок Божий.

— А голос-то какой. «Не отчепляйтесь» — ровно сыч.

— Голос не беда, а зато сама... Постой!

Они подошли к Вере Андреевне. Курносая ощупала скамейку руками.

— Садись, — сказала она. — Ишь, что тут? Цветочек? Знаешь, это один мальчик хорошенький-хорошенький приходил, увидел нас и подбросил.

— Да что ты? — удивилась черненькая. — Ей Богу?

— А и цветочек! Ну, и цветочек! — ласково тянула курносая, перебирая смятую ромашку. — И каждый лепесточек разный. Вот этот голубенький, а этот розовый. Да ты пощупай — сразу поймешь, что розовый. А вон еще желтенький. А этот — ну, поверить трудно — совсем золотой. Господи, сколько тут радости. И все для нас, и все нам. В одном цветочке. А ведь таких цветочков-то по всей земле раскидано миллионы. И бабочки над ними вьются, и все так красиво, так красиво, что иной ангел не выдержит, порхнет с неба украдочкой, поцелует такой цветочек али бабочку, да и опять за облака и смеется нам сверху. Вот помолчи. Послушай. Слышишь — смеется?

— Девицы! — закричал с берега бабий голос. — Собирайтесь в кучу. Пора!

Слепые встали, взялись подруку. Курносая приостановилась.

— Слышишь? Слышишь? — спросила она, повернув голову к скамейке, где тихо плакала дама в шляпке. — Слышишь ангела?

И обе, радостно улыбнувшись, заковыляли неровной, развалистой походкой к берегу.

ТИПЫ ПРОШЛОГО

1

Дядя Полкаша

Иногда очень хочется представить себе современную русскую жизнь, среднюю жизнь средних русских людей. Оказывается, что это чрезвычайно трудно. По свидетельству многих — сплошной кровавый кошмар, а если судить по советской литературе, так даже милиционер плачет от умиления, глядя на беспаспортного бродягу. Как вывести среднюю линию — воображения нехватает.

Какие там живут люди, мы не знаем. Но зато знаем, каких людей там больше нет, какие типы, прочно установившиеся в нашей прежней жизни, ушли навсегда и бесповоротно.

Ушли добродушно-ворчливые нянюшки (между прочим, до тошноты в литературе надоевшие), ушли старые приживалки с флюсом, ухари-купцы, «вечные» студенты, старушки-богомолки, странницы и страшные «спиридоны-повороты», шагавшие по большим дорогам, с котомкой за спиной, с чайником у пояса и клобуком на длинноволосой голове. Они были очень живописны, эти «спиридоны-повороты», но и жутковаты. Почти при каждом деревенском преступлении — грабеже, убийстве, поджоге — судебный следователь всегда допытывался:

— А не приметили ли вы в это время какого-нибудь бродягу в клобуке? Не проходил такой?

Называли их спиридонами-поворотами потому, что если такого за беспаспортность арестуют, то поворачивают его обратно, в ту местность, откуда он, по его словам, вышел. Арестуют в другом месте — опять повернут. Так и шагали спиридоны в свое удовольствие по всей широкой Руси.

Помню, как-то на перевозе через Волхов на пароме подошел к нашей коляске жуткий длинноволосый верзила, роста нечеловеческого, в подряснике, в опорках на босу ногу и с клобуком на голове... Подошел вплотную и рявкнул:

— Лев Толстов что сказал? А? Подайте, барышня, бывшему гвардейскому офицеру.

Я наивно удивилась... Лев Толстой... отец Сергий...

— Боже мой, неужели вы гвардейский офицер?

— Э-эх, барышня! Жизнь моя настоящий рóман.

Так и сказал — «рóман», с ударением на «о».

Но тут обернулся кучер:

— Пошел, пошел, куда лезешь!

И гвардейский офицер энергично плюнул и покорно отошел в сторону.

Вот такого спиридона-поворота — обыщи весь СССР — наверное, не найдешь.

Но вот есть еще один тип прошлого, тоже, наверное, невозвратимо исчезнувший. В новом укладе русской жизни ему, должно быть, уже делать нечего. Это тип очень мирный и назывался он — летним репетитором. Нанимали такого репетитора на лето, готовить помещичьих мальчишек к осенним переэкзаменовкам.

Вспомнился мне этот тип случайно и совершенно неожиданно.

Был исключительно жаркий день.

Чудесная санатория, где мы проводили лето, к счастью нашему, была окружена великолепным парком... Деревья огромные, «широкошумные», совсем русские, помещичьи. Слушаешь их тихий шелест, смотришь на далекие вершины, утонувшие в синем глубоком небе, и вспоминается не недавнее, парижское, суетливое, заботное, а тихая, прошлая жизнь. И это в каких-нибудь пятнадцати минутах езды от Парижа такая «широкошумность», и ширина, и простор, и покой, и такие русские настроения.

Вот сижу у окна — вид из окошка прямо на салат и морковку. Дальше — пламенные настурции, еще дальше — последние томные розы. А за ними, за решеткой ограды, глубокими зелеными пластами, от бледно-хризолитного до черно-изумрудного, чуть зыбится стена леса. Где-то близко клохчет курица...

В какой же это я губернии? Новгородской? Или еще дальше по дороге времени— в Волынской?

Не надо только смотреть налево, где чересчур уж по-французски блестят лакированными листьями роскошные кусты магнолий. Не надо туда смотреть, и тогда, может быть, услышишь далекий-далекий голос из далеких стран, из далеких годов. Он кричит звонко:

— Надя! Лентя-айка!! Иди на рояле игра-ать!

— Не хочу-у-у!

Ну, нет. Теперь не поймают за косу, не потащут дудить эксерсисы и гаммы. Пространство и время унесли меня, спрятали: кричите, зовите — не откликнусь.

Вспоминаются «тени прошлого». Старые няньки, кучера, повара, ключницы. Зыбко, туманно. И вдруг вынырнула толстая, веселая рожа:

— Дядя Полкаша!

Рожа улыбнулась, обернулась из «тени прошлого»

живым человеком и сказала, лениво, по-рязански, растягивая слова:

— Вот, как экзамен сдам, пойду пешком к Тихвинской. К чудотворной.

Мне 14 лет. Я у тетки в имении. Кузинам — Леле, Кате и Лиде, приблизительно, столько же. Есть еще два кузена: оболтус Гриша и ябедник Вася.

Дядя Полкаша — студент первокурсник, нанятый на лето репетитором. Как его по-настоящему звали, я даже не помню, потому что прозвище «Полкаша» он получил в первый же день своего появления в нашем доме.

Толстый, добродушный, мягкий, у него даже подпалины какие-то над бровями были, вроде, как у нашего цепного Полкана. И улыбался он распяленным ртом совсем, как собака на солнце.

Когда он приехал, гостила в доме маленькая девочка. Она спросила:

— Как этого дядю зовут?

Державшая ее на руках Леля, не задумываясь, словно давно знала, быстро ответила:

— А это дядя Полкаша.

И никого это и не удивило, и так прозвище за ним и осталось.

В общем, все были Полкашей недовольны. Все, начиная с тетки. Репетитора прислать возложено было на дядюшку, который оставался в Петербурге. Тетушка так расстроилась, что даже написала ему укоризненное письмо.

— «Неужели уж во всем университете не нашлось студента поинтереснее? Целое лето видеть перед носом такую самоварную харю мало меня веселит».

Дядюшка ответил в сдержанных тонах:

«Репетитора выбирают, чтобы учить детей, а не

для того, чтобы веселить матерей. Послать какого-нибудь щелкопера и хлыща в дом, где бездельничают четыре молодые дуры и одна старая (это я про тебя), было бы очень неосторожно».

Увы, хоть и осторожен был дядюшка, но и тот не угадал. В деревне летом была такая сытая, сонная скука, что от нечего делать, все равно, пришлось девицам влюбиться в Полкашу.

Первым пронзилось гордое сердце пятнадцатилетней Кати.

Выяснилось дело как-то за ужином. Только что приехавший из города дядюшка рассказывал новости. Все смеялись и ели, как едят в деревне, — убежденно и сосредоточенно, подсаливая, подмасливая, поперчивая и похваливая. Одна Катя не ела и не смеялась.

— Чего же это она не ест? — спросил дядюшка. — Живот болит, что ли? Батюшки, да никак она брови подвела?

Катя вспыхнула, всхлипнула и выбежала из-за стола.

Тут уж мы все поняли, что она влюбилась.

Потом приехала подруга кузины Лели, институтка Оля. Привезла с собой тайные любовные стихи. Стихи, видимо, переписывались много раз и всегда немножко перевирались. Кое-где нехватало рифмы, кое-где выпало целое слово, но тем не менее, впечатление производили они потрясающее. Те места, где слова нехватало, даже особенно привлекали, потому что нужно было придумывать и угадывать, что бы это такое могло быть.

Одно стихотворение начиналось:

«Мы с тобой сплетемся в забытье,
Ты в роскошной позе на диване,
Я у ног твоих, я в чувственном тумане».

Дальше все было густо переврано.

Потом были еще стихи, начинавшиеся словами:

«Мы сплелися, как два змея,
И лежим, дышать не смея».

Это, кажется, было уже институтское произведение и, как будто, посвященное классной даме приготовительного класса, хорошенькой немочке, в которую весь институт поголовно был влюблен. Некоторые, положим, сильно увлекались батюшкой, внушавшим трепет бородой и единицами, которые лепил без всякого сострадания к слезам и мольбам. Впрочем, думаю, что стихи о роскошной позе отношения к батюшке не имели.

Оля стихов своих нам не показывала. Она их давала читать только Леле, но Вася-ябедник подглядел, подслушал, стянул, вызубрил на зубок, как не зубрил ни одного урока в жизни, и стал декламировать и цитировать.

— Откуда мог он узнать? — удивлялись Оля и Леля. — Неужели у них в гимназии они тоже ходят по рукам?

Им и в голову не приходило, что он такой ловкий.

Цитировал он эти стихи всегда очень некстати. Скажет, например, тетка за завтраком:

— Лиза, не забирай же всю сметану, нужно же чтобы и другим хватило.

— Не мешайте ей, мама, — крикнет Вася, — она в чувственном тумане!

Глупо, некстати и даже подло. Девицы волнуются, институтка Оля покрывается красными пятнами и бросает испуганные взгляды на дядю Полкашу.

По этим взглядам мы понимаем, что она тоже влюбилась. Ну, и дела.

Понимает ли что-нибудь сам Полкаша? Кажется, ровно ничего. Он самым безмятежным образом накла-

дывает себе на тарелку третью порцию вареников с вишнями и улыбается своей добродушной, собачьей улыбкой — не Оле и не Кате, с тоской отказавшейся, во имя безумной любви, от сладкого, а улыбается он именно этим самым вареникам, третьей их порции.

— Какие цветы вы больше всего любите? — спрашивает его дрожащим голосом Оля.

— Я? Гы-ы! Я? Чертополох.

Он доволен своим остроумием, от удовольствия краснеет, и толстые, медные щеки его блестят.

Мы с Лидой долго обсуждали события. Не могли решить самого главного: должны ли мы тоже влюбиться, или не стоит.

— Надо сначала выяснить катины дела, да и олины тоже. Если он их любит, тогда уж нам соваться нечего, — решила я. — Страдать и разбивать всю свою жизнь.

И вот (тонкая штука была эта тринадцатилетняя Лида!) придуман план: переписать любовные стихи, прочесть их дяде Полкаше, сказать, что они посвящаются ему, и спросить — кого бы он желал как автора. Он проговорится непременно.

За последние дни дело еще больше осложнилось. Как-то за дневным чаем, когда все ели клубнику, Леля вдруг заплакала, вскочила и убежала. Признак верный. Влюбилась. Значит еще одной соперницей больше. Для нас с Лидой это было очень плохо. Кроме того, я боялась, что стихи не совсем подходят к случаю. В них все какие-то воспоминания. Ведь Полкаша не сплетался же, как змей. Лучше я сама сочиню ему стихи.

Промучилась два дня. Сочинила:

«Давно-давно, в дни юности далекой,
Мне снился ты.

И я всю жизнь пробуду одинокой
Рабой мечты».

Стихотворение нам обеим безумно понравилось. Немножко коротко, но чудесно. «Рабой мечты». Прелесть!

Переписали, на всякий случай, переделывая почерк, чтобы не попасться в лапы Ваське-ябеднику.

Потом стали мучиться — как поймать Полкашу одного?

А время шло. Полкаше выходил срок ехать держать какие-то экзамены, которые он «заложил на осень».

И вот раз вбегает ко мне Лида — красная, косички за плечами дрожат:

— Идем скорее в биллиардную. Он там один.

Я вдруг струсила.

— Иди одна. Вдвоем как-то неловко.

Лида тоже струсила. Стали спорить.

— Мне стыднее — убеждала я, — потому что стихи мои. Я спрячусь за дверь и, чуть что, выскочу и помогу тебе.

Какая могла быть помощь и в чем — я и сама не знала, но Лиду убедила.

Пошли от страха на цыпочках. Я остановилась за дверью. Лида вошла и сказала тоненьким жалобным голоском:

— Вам стихи...хи...

Полкаша, мирно катавший шары, приостановился, осклабился.

— Мне?

— Вам.

— Да ну?

— Вот, — сказала Лида, — прочитайте и угадайте, от кого.

Полкаша взял листок и начал:

«Давно-давно, в дни юнности» — почему «юнности»? Надо одно эн, а не два... «Юности далекой... мне снился ты... и я...» ничего не понимаю... «всю жизнь. Ты и я всю жизнь. Ты и я всю жизнь пробуду...» Тогда уже пробудем, раз ты и я. Множественное число. Что это за ерунда? Кто писал?

— Это одна из нас, — пролепетала, чуть не плача, Лида.

— Врете! — захохотал Полкаша. — Это же старуха писала. Давно-давно, в дни юности. Что же это за старуха такая? Неужели ключница Авдотья Матвеевна? Ей Богу, она. И почерк ее. И «юнности». Ха-ха ха! Ай да Авдотья! Пойду покажу листок вашей мамаше. Ха-ха-ха!

Я еще слышала лидин писк и гусиный гогот проклятого Полкашки, но конца сцены не знаю. Я постыдно удрала и, забившись в постель, сунув голову под подушку, ревела с визгом и от полного отчаяния дрыгала ногами.

Полкаша не показал листка тетушке, но и не проявил никакого любопытства к автору.

О нашем позоре никто не узнал.

Догадался он, что ли?

2

Верзила

Ассоциации, ассоциации...

Вспомнился репетитор «дядя Полкаша» и потянул за собой вереницу «типов прошлого».

Прежде всего, конечно, вспомнилось то, что непосредственно примыкало к фигуре дяди Полкаши. А

примыкало к ней нечто долговязое, с кадыком. Но будем рассказывать последовательно.

За летом, ознаменованным дядей Полкашей, проплыла зима, и наплыло новое лето, а с ним заботы о новых переэкзаменовках, а следовательно, потребность в репетиторе.

У рыжего, веснущатого Васи-ябедника оказалась переэкзаменовка по латыни. Тут уж без репетитора не управиться.

Но дядюшка, переехавший на этот раз в деревню одновременно с семьей, неожиданно, с чисто отеческой нежностью, заявил:

— Не к чему репетитора. Этого оболтуса я сам сумею оболванить.

Здесь будет уместно заметить, что, по моим наблюдениям, никогда до добра не доводит, если мамаша или папаша начинают лично преподавать что-нибудь своим деткам. То ли здесь оскорбленное самолюбие — что вот, мол, мое собственное детище, а проблесков гениальности не обнаруживает, то ли со стороны детей недоверие к научному авторитету мамочки, но, одним словом, дрянь. Дело выходит дрянь. Вплоть до родительского проклятия и лишения наследства.

Эта самая тетушка, о семье которой я сейчас рассказываю, считая себя недюжинной силой по музыкальной части, одно время сама занималась с детьми музыкой. Метронома у нее не было, и поэтому она являлась на урок с кинжальчиком, служившим, обыкновенно, для разрезывания книг, и отщелкивала этим кинжальчиком такт, ударяя по крышке рояля.

— Катя! Иди заниматься! — звала она сердитым голосом.

— Катя, — подхватывал кто-нибудь из мальчишек. — Беги скорее, мама кинжал точит.

— Катя! — кричал другой, — Антропка, иди тебя тятька пороть хочет.

Испуганная и заранее обиженная, Катя бежала в залу.

Молчание. Скрип навинчиваемого табурета. Две робкие ноты и крик:

— Сейчас же иди мыть руки, скверная девочка!

С этого начинался урок.

Особенно скверно обстояло дело с Васькой. Ни любви, ни способностей к музыке у него никогда не было, и для чего его терзали, — совершенно непонятно.

— В чем у тебя руки, поросенок! — надрывалась любящая мать.

— Это дикий мед, — объяснял поросенок басом. — Он не отмывается. Только разве двууглекислым скипидаром, так ведь вы на скипидар не расщедритесь.

— Пошел вон, грубиян, как ты смеешь так матери отвечать!

Дальше этого васькин урок, обыкновенно, не шел.

С девочками дело шло немножко лучше, звонко постукивал кинжальчик — «раз, два, три, четыре», кричала тетушка, заглушая экзерсис.

Однажды жившая в доме гувернантка француженка попробовала усовестить Ваську и долго толковала ему о жертвах и заботах.

Васька, который, кстати сказать, считал несмываемым позором говорить с француженкой по-французски, отвечал басом, надувая толстые щеки:

— Ма мэр, ма мэр. Мамерища приходит на урок, вооруженная до зубов кинжалами. Я не могу, я мальчик болезненный и нервный.

А вот теперь вся семья с ужасом ожидала, как папочка сам начнет заниматься латынью.

Первые дни прошли спокойно, дядюшка как будто даже забыл о своем намерении. Тетушка уехала в Мариенбад, для обмена веществ. И вот, проводив ее, дядюшка неожиданно вспомнил:

— А ну-ка, Васюк, принеси-ка мне твои учебники. Надо взглянуть, на какую такую премудрость твоих мозгов нехватает.

Дело было за обедом. Васька сбегал за учебником. Лицо у него было недовольное.

Дядюшка очень заинтересовался васькиной латынью. Блюдо стыло. Лакей, согнувшись в почтительной позе, держал на вытянутой руке блюдо с цыплятами. Дети вздыхали. Два дня подряд за завтраком и за обедом погружался дядюшка в латинскую грамматику. На третий день, часа в три, вышел из кабинета дядюшкин лакей и сказал Ваське:

— Папаша вас просют.

Васька обдернул пояс и пошел к отцу.

Тихо. Какие-то отрывочные фразы. Бубненье. Возгласы. Бубненье. Крик. Бубненье. Отчаянный вопль. Дверь кабинета распахивается, выбегает Васька, за ним дядюшка. Васька прыгает через стулья, дядюшка за ним, красный, как бурак, весь налитой, ловит Ваську где-то в углу, на столе, давит его. Васька вырывается и прыгает в окно. Дядюшка останавливается, тяжело сопит, вытирает платком лоб и шею и медленно ретируется к себе в кабинет. Так разбитая армия отступает, унося убитых и раненых.

Через полчаса из кабинета звонок. Потом выходит лакей, разыскивает Ваську.

— Папаша вас просют.

Васька обдергивает пояс, идет.

Тихо. Отрывистые фразы. Бубненье. Возгласы. Бубненье. Крик. Бубненье. Отчаянный вопль. И сно-

ва дверь распахивается, вылетает Васька, за ним дядюшка, ловит, давит, хрипит. Васька вырывается и прыгает в окно.

Так до трех, до четырех раз в день. Васька быстро приспособился, переставил в гостиной кресла и лупил прямо к окну, так что дядюшка уже не успевал его ухватить.

Так жили и работали они дней шесть, сидя, кажется, все на том же самом спряжении, и неизвестно, сдвинулись бы они с него когда-нибудь, как вдруг пришло письмо от тетушки, на наш взгляд, очень приятное и нежное, но дядюшке оно почему-то совсем не понравилось. Тетушка писала, что познакомилась в Мариенбаде с замечательным врачом, который не лечит, а наоборот, сам лечится, но он так хорошо понял тетушкину болезнь и вообще ее натуру, как никто в мире, и советует ей непременно ехать из Мариенбада в Аббацию, и он тоже поедет и будет там за тетушкой как-то наблюдать, и что, конечно, жалко тратить такую уйму денег, но, с другой стороны, обидно пропустить такой случай.

«Нашим детям еще нужна мать, — заканчивала она свое письмо, — вот об этом я и думаю больше всего, когда забочусь о своем здоровье».

Письмо, как видите, очень лирическое и даже трогательное, но дядюшка ходил целый день с выпученными глазами и пил содовую воду. Потом заперся в кабинете и сердито сам с собой разговаривал.

— Обидно пропустить случай! — доносилось через закрытую дверь. — Ха-ха! Еще бы не обидно. Ха-ха!

На другой день велел лакею укладывать вещи и объявил нам, что едет в Мариенбад.

— Ваське вышлю из города репетитора.

И все фыркал и все сам с собой разговаривал.

Вечером уехал.

Через несколько дней явился из города новый репетитор.

Пришел он почему-то с последней почтовой станции пешком, рано утром. Мы все еще спали.

— Пришел учитель, — восторженным шопотом сообщила нам горничная Люба.

— Ну, какой же он, этот репетитор?

— А он такой... суковатый, — добросовестно объяснила Люба, — жилистый.

— А красивый?

— Страсть какой красивый. Две крынки молока выпил и купаться пошел.

— А как же он пешком пришел? А как же вещи?

— А у него такой свертышек в клеенке. Больше как есть ничего.

Пришла нянюшка.

— Нянюшка, видели?

— Видела.

Лицо у няньки недовольное.

— Видела. Длинный. На таких коров вешать. Волосы, как у дьячка. Кадык торчит. Добра не будет.

Подошла ключница.

— Видела. Кадык — это очень опасно. Один такой вот с кадыком заснул, ну, кадык, известно, от храпу шевелится. А в том доме кот был. Кот смотрел-смотрел, да и показалось ему, видно, что это мышь с ним заигрывает, он как кинулся да горло-то и перегрыз.

Все это было очень страшно и даже немножко противно. Странно только, что кот такую ерунду вообразил, — когда же мыши с котом «заигрывают»? Впрочем, ключнице лучше знать.

— А мальчики где?

— Побегли за ним на речку.

Мы наскоро оделись, пошли на террасу, где обыкновенно пили утром чай. Стали ждать.

— Длинные волосы — наверное, семинарист.

— Какой-нибудь Авенир Феофилактович Десницулобызященский.

— По-моему, лучше Череззаборвзиранский.

— Отюностимоеямногимистрастямиоборенский.

— Ха-ха!

— Хи-хи!

— Идет!

— Тише! Идет!

В конце аллеи, ведшей к дому, показались оба мальчика и с ними «он». Длинный, тощий, мокрые волосы облепили голову и отвисли сзади косицей. Образовалась голова, как у цапли. Шел, задрав лоб, выставив знаменитый кадык. Одет был в голубую вылинялую косоворотку, неизъяснимого цвета брюки, парусиновые расшлепанные башмаки. На плечи была накинута студенческая тужурка с выгоревшими лацканами.

Подошел к столу, протянул всем по очереди невиданной величины лапу, сел и добродушно сказал, повернувшись к мальчикам:

— А ну, молодые деге-нераты, исхлопочите-ка крынку молока да краюху хлеба.

* * *

Когда, бывало, русская дама возвращалась из заграничного курорта в родное поместье, на лоно семьи, настроение у нее редко бывало хорошее. Уж очень резкий переход. Трудно было душевному организму его безропотно вынести.

Заграницей такая дама была молодой женщиной, свободной, беспечной. Забота была только одна: «как

бы этот растяпа не забыл во-время выслать деньги». Заграницей важен был крем для рук, пудра, массаж, туалеты к лицу. А приедешь к себе, куда-нибудь в Ярославскую либо Курскую губернию, в какой-нибудь, скажем, Льговский уезд, и окажешься вдруг не очаровательной и головокружительной кокеткой, а матушкой-барыней, матерью подрастающих дочерей и грубиянов-сыновей; а какой-нибудь кружевной пеньюар и надевать смешно, потому что получишь в нем не утренний букет от отельного дон-жуана, а известие из сморщенных губ ключницы о том, что две коровы передоились, а одна — стельная, а остальных и считать нельзя, и все одиннадцать общими силами дадут разве что четыре стакана молока, и что кучер выхлестнул вороному глаз, а деревенские ребятишки клубнику обтопали, а прачка все шелковое белье ржавчиной перепортила, а повар пьет, а садовник малину продал, а куры не несутся, а свинью скотница не доглядела, и она своих поросят сожрала, а если лакей клянется, что не свинья сожрала, а сама ключница, так это он врет, потому что он живет с поваровой женой, и все они заодно и одним миром мазаны, а ей, ключнице, никаких поросят не нужно, хоть озолоти ее, а конюха напрасно выгнали, он теперь грозится гумно сжечь, и, конечно, барыне самой за всем не доглядеть, барыня не молоденькая, у ней и сил нехватит.

Вот попробуйте все это выслушать в парижском дезабилье из алансcонских кружев, полируя ноготки помпадуровым порошком.

— «Барыня уже не молоденькая...»

— Ах, ради Бога, оставьте меня.

В таком именно состоянии приехала тетушка из Мариенбада.

Все раздражало, все оскорбляло, все злило. К ут-

реннему кофе подали теплую домашнюю булку. Стоило мучиться целый месяц на немецких сухарях, чтобы потерять четыре кило, когда тут с утра лезут к тебе с булкой и, вдобавок, эта пошлая булка так аппетитна на вид. Конечно, один кусочек особенно повредить не может, но если начать нарушать диэту, то не к чему было ездить заграницу.

За завтраком вся семья в сборе.

Новые разочарования. Леля раздобрела, и на вид ей можно смело дать восемнадцать лет, хотя ей всего семнадцать. Ужас! Вася чавкает и засунул вилку в рот до самого черенка. Катя развалила локти на столе. Гриша дергает носом. Все распустились, одичали, огрубели. У гувернантки глаза залило жиром, и ей, видимо, все трын-трава.

— Да где же ваш репетитор, которого вам папа послал? — вспоминает тетушка.

— Пошел раков ловить.

Тетушка удивилась.

— Что же он, не знает, что мы сейчас завтракаем?

— А он говорит, что хочет есть, когда он хочет, а не тогда, когда повар хочет, чтобы он хотел, — эффектно отчеканил Вася.

— Странно, — сердито удивилась тетушка. — Что же он, голодный останется? Ведь не будут же ему отдельно завтрак готовить.

— А и не надо, — радостно отвечал все тот же Вася. — Он молоко дует и хлеб лопает.

Тетушка даже побледнела от негодования:

— Что за выражения! Что за арго! Где ты воспитывался?

— Где? Пфф, — прыснул от смеха Вася. — До сих пор в гимназии, а теперь уже, наверное, выгонят.

Тетушка закатила глаза, и гувернантка, со стоном

оторвавшись от жареной курицы, пошла за нашатырным спиртом.

К пятичасовому чаю тетушка не вышла, но видела из окна своей комнаты, как на террасе, где все сидели вокруг самовара, появился верзила в косоворотке, ухватил стакан чаю с молоком и той же рукой, пятым и четвертым пальцами, ломоть хлеба и, повернувшись ко всему обществу спиной, сел на ступеньки и стал питаться.

Выпив, громко сказал:

— Мерси за чай и за булку, — и, перепрыгнув через перила, зашагал к лесу.

Странное беспокойство овладело тетушкой.

— Леля! — кликнула старшую дочь. — Пойди сюда.

Пришла Леля, пухлая, сытая.

— Какой ужас! — подумала тетушка. — И эта корова— моя дочь!

— Леля, — сказала она. — Объясни мне, пожалуйста, что собой представляет этот ваш репетитор.

Леля пожала плечами.

— Репетитор, как репетитор. Во всяком случае — вполне сознательная личность.

Тетушка удивилась.

— Как ты странно стала выражаться. Что же такое сознает его личность?

Леля опять пожала плечами.

— Надеюсь, продолжала тетушка, — что он сознает свои обязанности. Ты это хотела сказать? И чего ты все дергаешь плечами? И откуда у тебя такой бюст? И что за щеки! Разве можно так распускать щеки! Ты бы одумалась. А что же он добросовестно с мальчиками занимается? Ведь у них переэкзаменовки.

Леля поджала губы и сказала наставительно.

— Что значит «заниматься»? Он развивает их, по возможности. Он говорит, что природа учит лучше всякой книжки.

— Природа? — удивилась тетушка. — Никогда не слыхала, чтобы природа могла кого-нибудь научить прилично говорить по-французски. Конечно, я не спорю, бывают прелестные пейзажи, пикники, но при чем тут латинская грамматика и вообще... переэкзаменовки? Нет, я завтра же переговорю с ним серьезно.

К ужину тетушка не спустилась. Если еще начать ужинать, то весь Мариенбад пойдет на смарку.

Снизу доносился запах чего-то теплого, жареного и еще чего-то, вроде пирога с налимом.

Тетушка выпила жиденького чаю с сухим крендельком и села у окна, губы сжаты, брови сдвинуты. Такое выражение было, вероятно, у Муция Сцеволы, когда он клал на огонь свою руку.

Со двора доносились восклицания, спор, смех. Молодежь устроилась около качелей. Заскрипели петли, кто-то завизжал, и вдруг зычный голос запел:

«Впереди черный поп.
Позади черный гроб...»

Другие подхватили:

«Для преступника,
Для колодника».

— Что за песня? — подумала тетушка. — И как вульгарно: «Попп, гропп» — ужас!

— Где ж преступник? — вот он,
Он на плаху идет...»

— Это этот ужасный поет. Это он их учит вульгарным песням! — волновалась тетушка.

«И в толпе простонал
«Вольдемар, Вольдемар»
Кто-то плачучи, умираючи».

— Завтра же положу этому конец.

Внизу погалдели и начали другую песню.

«Есть на Волге утес,
Диким мохом оброс
Он с боков от подножья до края,
И стоит сотни лет,
Только мохом одет...»

— Какое идиотство, — возмущалась тетушка. — Вполне натурально, что он мохом одет, не во фраке же ему щеголять.

«... Ни нужды, ни заботы не зная».

— Когда у утесов бывает нужда?

Тетушка нервно позвонила и приказала, чтобы песни сейчас же прекратились, потому что у нее мигрень.

На другое утро, собравшись с силами и разрешив себе для бодрости сдобную лепешку с маслом, велела позвать к себе репетитора.

Он тотчас же пришел, здоровенный верзила, с закинутой назад головой и выпяченным горлом, и протянул ей гигантскую лапищу, растопырив пальцы, точно ждал, что тетушка будет напяливать на нее перчатку.

— Ага! — громко и радостно воскликнул он. — Ага, вот и мамаша. Здравствуйте, здравствуйте, мамаша.

Тетушка совсем растерялась.

— Садитесь, пожалуйста, — пролепетала она. — Я хотела...

— Га! Да я уже давно сижу, — осклабился он.

— Да, да, мерси, — тетушка окончательно оторопела. — Мне нужно, потому что я должна... То-есть, не должна, но мне нужно... Господи...

— Так, — одобрил студент и с большим любопытством посмотрел на тетушкины брови. — Та-ак. Значит, все в порядке. Разрешите откланяться.

В эту минуту тетушка заметила его расшлепанные парусиновые туфли, на которых каждый сустав заключавшихся в них пальцев был отмечен грязным пятном. Вид этих гнусных ног почему-то взбодрил ее.

— Я хотела бы знать, делают ли мои сыновья успехи в занятиях. Хорошо ли учатся и выдержат ли переэкзаменовку?

— Хорошо ли учатся? — растерянно спросил репетитор, с трудом отрываясь от тетушкиных бровей.

(— Что я их криво подмазала, что ли? Чему он удивляется, нахал, — нервно подумала тетушка).

— Хорошо ли... — продолжал репетитор и вдруг добродушно осклабился: — Мамаша, дорогая. Ну, что мы будем друг перед другом ломаться. Ведь вы же знаете, что ваш Василий форменный дегенерат. Да не спорьте, не спорьте. Взгляните на его уши, на его зубы, на его бессмысленную улыбку. Я не скажу того же про старшего, про Григория. Тот в другом роде. Тот просто кретин. Из него впоследствии может выйти преступник, конечно, — не радуйтесь, — не крупного порядка. Так, какой-нибудь мелкий шулер.

— Позвольте, однако, — всколыхнулась тетушка. — Я не могу допустить... и как вы смеете...

— Те-те-те, — добродушно перебил верзила. — Ну, вот мамаша и обиделась. И чего? Отпрыски у вас не важнец. С этим вы спорить не станете. Ну, да вам-то что? Это же не значит, что и вы уж непременно

кретинка. Вы, очень может быть, что находитесь на другой ступени развития. Почему этого не признать?

— Я одно хочу знать, — завизжала тетушка. — Готовите ли вы вверенных вам учеников к переэкзаменовке, или нет?

— Вот видите, мамаша, я не ошибся. В вас есть проблески здравого смысла. Но посудите сами — готовить их к переэкзаменовке было бы с моей стороны прямо недобросовестно. Все равно, провалятся. Стараюсь их немножко развить, привить хотя бы гражданственность. Вижу, мамаша, вижу по вашему лицу, что вы меня собираетесь выгнать. Только, извините, я считаю непорядочным уйти, пока мой наниматель, то-есть, ваш супруг, сам мне об этом не напишет. А то у вас сегодня нервы, а завтра еще что-нибудь. Ну, сознайтесь, мамаша, что вы человек несерьезный. Ну, чего же там. Мы ведь свои люди. А пока что — честь имею.

* * *

В тетушкиной семье долго жила легенда о верзиле-репетиторе. И впоследствии, когда сыновья ее сделали блестящую карьеру, родственники, посмеиваясь, говорили:

— А наши-то дегенераты в ход пошли.

3

Эрнест с языками

Та история, которую я сейчас наметила рассказать, произошла не на моих глазах, но кое-кого из действующих лиц я в свое время знала, кое-кого видела и всю историю много раз слышала, так что за достоверность ее поручиться могу.

Герой этой истории вспомнился мне опять-таки по ассоциации, потому что он, как и те два, о которых уже рассказала, был репетитором в помещичьем доме. Звали его Эрнест Иванович, фамилии не помню, называли же его «Эрнест с языками». И не без причины.

Появлению Эрнеста Ивановича послужила следующая сцена. Жаркий летний день. В гостиной, с опущенными для прохлады шторами, в роскошном батистовом капоте, сидела помещица Александра Петровна Дубликатова, вдова средних лет, внешности тоже средней, на которой нам для развития повести останавливаться нет необходимости. Так вот, сидела эта вдова и пришивала кружевце к кофточке. Настроение у нее было хорошее и, разглядывая свое кружевце, она что-то напевала.

В той же комнате сидели и дети ее— двенадцатилетний Ваня, десятилетняя Лиза и восьмилетняя Варя. И сидела еще гостья, соседская барышня Верочка.

— Так что же, — сказала, продолжая разговор, Александра Петровна. — Посылать за рыбой или не посылать?

И прибавила:

— То би ор нот то би, как сказал Гамлет.

Произнесла она эту, опротивевшую всему миру, фразу с ударением своеобразным, так сказать, собственного вкуса, на букву «о».

Соседская Верочка усмехнулась и поправила:

— Надо говорить «ту би», а не «то би».

— Разве? — равнодушно проронила Дубликатова и, обращаясь к сыну, сказала:

— Ваня, у вас латынь учат: как надо выговаривать — «то би» или «ту би»?

Ваня посмотрел вбок и ответил мрачно:

— Не знаю. У нас это еще не проходили.

Но соседская Верочка не унялась.

— Ах, Александра Павловна, какая вы смешная. Да ведь это же не по-латыни, это по-английски. Ведь это же Гамлет.

Но вдова и тут не сдалась.

— Ну, так что ж, что Гамлет? Я Гамлета отлично знаю. Принц Датский. Только не понимаю, почему вы считаете, что Гамлет, образованнейший человек из высшего общества, не мог склеить фразу по-латыни? И почему ему непременно по-английски говорить, когда он датчанин? По-датски, наверное, и говорил.

Верочка, вспомнив, что ее папаша занимал у Дубликатовой молотилку, смолчала. Но самой Дубликатовой этот разговор запал в душу, и стала она, в материнской своей заботе, обдумывать.

— Репетитора, все равно, брать нужно. У Лизочки переэкзаменовка по немецкому, у Ванички по немецкому, по французкому и по латыни, а Вареньку надо подготовить в старший приготовительный. Так вот и надо взять репетитора с языками, пусть учит их и английскому, а то будут, как эта дура Верочка, думать, что Гамлет на петушьем языке кукурекал. Напишу в Москву, мадам Червиной, пусть подыщет что-нибудь поприличнее и пришлет.

Сказано — сделано.

Мадам Червина откликнулась, и через две недели перед вдовой Дубликатовой сидел гладко причесанный и выбритый господин с энергичным подбородком и очень выпуклыми глазами.

— Да, — говорил господин, строго глядя на Дубликатову, поджимавшую пальцы, чтобы не было видно, как въелся в ногти сок от черной смородины, которую она все утро чистила на варенье. — Да, языки

необходимы. Я берусь подготовить детей по-французски и по-немецки.

— И по-английски, — вставила вдова. — Я очень на этом настаиваю.

Господин сжал губы, подумал и сказал строго:

— Три языка сразу. Это было бы не педагогично, не методично и, главное, не дидактично. На последнем я особенно настаиваю, подчеркнув, тем не менее, два первых.

Сказал, губы поджал, голову нагнул и выкатил исподлобья белые глаза.

Но вдова не смутилась.

— Все это я, конечно, отлично понимаю, — ответила она, хотя не поняла ровно ничего, — но, тем не менее, считаю необходимым настаивать. Приглашая вас, я, собственно говоря, больше всего имела в виду английский. Или вы английским не владеете?

На это господин ответил:

— Странный вопрос.

И даже покраснел, так, вероятно, обиделся.

Английский язык был решен и выставлен в программе в первую голову.

В общем, новый репетитор Дубликатовой понравился. Одевался чисто, говорил мало и очень строго, занимался с детьми аккуратно, манерами обладал вполне приличными, вот разве только одно: любил иногда очень быстро, кругло — разным движением указательного пальца обтереть рот. Но и это выходило у него вполне прилично.

Успокоившись с этим делом, вдова Дубликатова отдалась новой заботе — подготовке всего, что следует, к приезду сестры своей Лизаветы. Лизавета была персона самая важная из всей семьи — так сумела себя поставить. В ранней молодости вышла она замуж

за богатого купца и, чтобы не почувствовать урону своему дворянскому корню, сразу задрала нос. Велела племянникам звать себя «тант Лили», вставляла в разговоры французские словечки, на все обижалась, всем возмущалась и, оставшись богатой бездетной вдовой, окончательно вознесена была над всей семьей. Ведь у нее три сестры да два брата, и от них одиннадцать нисходящих, явных наследников. А если кого полюбит исключительно ярко, то может и пренебречь остальными нисходящими.

Вот в надежде на это небрежение, и заманивали ее к себе и братья и сестры, с самым пламенным родственным гостеприимством.

И вот, умолив эту самую «тант Лили» приехать на лето, Дубликатова хлопотала, стараясь угодить изысканным вкусам сестры. Переклеила обои в двух комнатах — на выбор, что лучше понравится. Велела насадить роз самых нежных колеров, велела поить поросят молоком, настроила рояль и вывела мышей. Что еще больше может сделать любящее сестринское сердце.

Наконец, Лили приехала.

Она была худа, желта, драпировалась в прозрачные шарфы блеклых тонов и тошно пахла гвоздикой.

Ото всего пришла в ужас. Про мальчика сказала вполголоса, как говорили актеры старинных театров, — «в сторону»:

— Боже, какой урод.

Про девочек воскликнула:

— Боже, как ты их одеваешь?

Про самое Дубликатову проронила:

— Ну, можно ли так распускаться?

И хотя всех поцеловала, но с видимым отвращением.

Завтраком осталась в высшей степени недовольна.

— Что это за ужас? — спрашивала она.

— Картофель в мундире, — отвечала Дубликатова, краснея пятнами.

— Не понимаю, как вы можете? — возмущалась тант Лили, накладывая себе вторую порцию.

В общем, она, хотя и была в негодовании, но поела на славу.

На репетитора не обратила ни малейшего внимания.

Так потекли дни. Дубликатова лезла из кожи вон, чтобы угодить богатой сестре, — та ворчала, скучала, томилась.

— Отчего у вас нет никаких духовных запросов? — стонала она по вечерам. — Вы прозябаете, как звери. В вас нет ни жертвенности, ни жажды подвига.

— Ну, что же ты хочешь, Лили дорогая, — мучилась Дубликатова. — Дети еще маленькие. Подожди, вот вырастут и начнут того... жертвовать.

— Ах! Ты ничего не понимаешь, — томно стонала Лили. — Ты живешь, как растение, — животной жизнью.

И вот однажды утром пошла Лили мечтательно бродить. Проходя мимо флигеля, где жил репетитор, услышала она громкий мужской голос приятного тембра и большой твердости, который говорил: — «Счастье есть сладость жизни, но не хлеб ее».

Сказал и еще раз мечтательно повторил то же самое.

Лили замерла на месте.

— Как интересно! Сидит и философствует.

После краткого перерыва голос раздался снова.

— Слезы суть жемчуг души, — твердо произнес он. — Не разбрасывайте его перед невеждами.

Потом прибавил.

— Довольно!

За завтраком Лили внимательно присматривалась к репетитору и нашла, что у него незаурядная внешность.

— Этот человек создан, чтобы вести за собой толпы, — сказала она вечером своей удивленной сестре. Но та, хотя и удивилась, расспрашивать не стала. Слава Богу, что хоть что-нибудь понравилось.

На другое утро Лили снова подошла к флигелю. На этот раз она, обойдя с другой стороны, увидела репетитора. Он сидел в кресле у окна и, глядя на облака, говорил:

— Семь раз примерь, а один раз отрежь.

Лили немножко удивилась несоответствию слов с позой, но продолжала наблюдать.

— Желай другому только то, чего желаешь себе. Чего желаешь себе. Чего желаешь себе, — дважды повторил этот замечательный человек и, встав с места, направился в глубь комнаты.

За завтраком дети были удивлены: на щеках тант Лили появился румянец клякспапирового цвета и роза у пояса. И она спросила у репетитора:

— Эрнест Иванович, любите ли вы телятину?

На что он сдержанно отвечал:

— Да, я охотно ем мясо.

И вытер рот указательным пальцем.

На следующее утро она снова пошла к флигелю и услышала, что «слава красоты умирает, но слава мудрости живет вечно».

Она не видела репетитора, но слышала, как голос его то приближался к окну, то отдалялся. Очевидно, он размышлял, шагая по комнате.

И снова, с еще большим напряжением, прозвучал его голос:

«Сильные страдают молча».

Сердце Лили сжалось.

Он сильный, и он молча страдает. Достаточно ли ему платят за уроки? Эта пошлая Саша способна еще обсчитать его. Какой человек! Какая мудрость, какая сила! Как жаль, что так поздно встретила она его на своем пути...

И каждое утро стала она ходить к флигелю и слушать. Иногда было совсем тихо. Иногда как будто детские голоса. Может быть, дети приходили к нему заниматься и отрывали его от размышлений?

Однажды услышала она строгое речение:

— «Кто украшает тело свое — достоин презрения. Кто украшает душу — заслуживает преклонения».

После этого она перестала носить брошку...

Как-то за обедом, девочка Варя что-то болтала о том, как она даст подножку какому-то Сереже, чтобы он упал и нос разбил. И вот Лили, краснея от волнения, сказала:

— Варя! Не желай другому того, чего не желаешь себе.

И спросила дрожащим голосом:

— Ведь правда, Эрнест Иванович?

На это репетитор выкатил глаза, обтер рот пальцем и сказал, пожав плечами:

— Как пропись — это отлично. Но если вы, например, играете в карты, так не можете же вы желать, чтобы ваш противник выиграл.

— Ах, я ни за что никогда не стану играть в карты! — воскликнула Лили. — Это так ужасно.

Он опять пожал плечами.

В другой раз, увидя, как Дубликатова расправила на девочкином платьице бантик, Лили воскликнула:

— Ах, Саша, не приучай ее украшать тело! Неправда ли, Эрнест Иванович?

Тот удивился.

— Почему же? Наоборот, я нахожу, что это очень хорошо. Нахожу и подчеркиваю.

Лили удивилась и даже, как будто, испугалась.

— И это вы говорите? Вы?

— Ну, да, я. Чему вы удивляетесь? Я придаю большое значение внешности.

Но тут уж она сразу поняла, что он иронизирует, и нежно рассмеялась.

Переполненное сердце облегчает себя словами. В один прекрасный вечер Лили, с пылающими щеками, сказала сестре:

— Какой удивительный человек Эрнест Иваныч! Я иногда случайно прохожу утром мимо флигеля и слышу, как он говорит сам с собой. И как все, что он говорит, значительно и глубоко.

— Когда же он говорит — не понимаю... Ах, да, это ведь он детям переводы диктует. Он ведь взят с языками.

— Какой вздор! — рассердилась Лили. — Вовсе это не переводы. Ты вечно все стараешься опошлить.

И ушла.

Ушла, но в душу Дубликатовой заронила немалую тревогу. Тревога выразилась определенной формулой:

— Дуреха влюбилась.

А что, если так дальше пойдет, и тот гусь все это заметит, да пронюхает, что она с деньгами, да, чего доброго, женится?

Думала Дубликатова, думала до сердцебиения, до валерьяновых капель. Даже заснуть не могла.

Утром решила.

— Гнать его со всеми языками. Но как гнать?

И тут повезло. Лили простудилась, слегла. Увидя, что она, на худой конец, дня три провяляется, Дубликатова позвала к себе Эрнеста Иваныча и сказала, что, к сожалению, принуждена с ним расстаться, что послезавтра должна ехать гостить со всеми детьми и, вообще, ничего не поделаешь,

— Это жаль, — сказал Эрнест Иваныч. — Дети сделали большие успехи, а особенно в английском, что я и подчеркиваю.

Дубликатова жалась, мялась, но, в конце концов, решительно распростилась с репетитором.

Известие об этом происшествии произвело на тант Лили самое потрясающее впечатление.

— Но пойми, — успокаивала ее Дубликатова, — пойми, что я здесь ни при чем. Он сам сказал, что получил известие из дому, что его жена или кто-то там из семьи нездоров.

— Жена! — воскликнула тант Лили. — Такие люди не бывают женаты. Он... он... слишком велик... то-есть, высок...

Она не пережила этого удара, то-есть, не пережила в деревне, и уехала переживать заграницу.

Но репетитор Эрнест Иваныч, хотя и исчез из жизни Дубликатовой, но не бесследно. След остался, и довольно занятный. Когда детей повезли в Москву отдавать в школу, то выяснилось, что они абсолютно английского языка не знают. Они довольно бойко переводили и рассказывали на каком-то странном языке, но на каком именно — никто понять не мог. Репетитор учил их не по книжке, а из головы. Дубликатова была в ужасе.

— Это был сам дьявол!

Много времени спустя установили, что язык, который репетитор всучил им вместо английского, был

эстонский. И вдолбил он его в детские головы так прочно, что, несмотря на мольбы матери и собственные страдания, они так его никогда и не забыли.

А вдова Дубликатова остро возненавидела Шекспира. Потому что, собственно говоря, с него все и началось.

Но так как Шекспир никогда об этом не узнал, то, пожалуй, и останавливаться на этом не стоит.

СТАРИНКА

Герой этого бурного и не совсем обычного романа, судя по уцелевшим портретам, был крупный, широкоплечий, бровастый. Изображался либо в венгерке нараспашку, как любили щеголять помещики того времени — начала девятнадцатого столетия, — либо в пышной шубе на бобрах и мохнатой шапке.

Рода он был старинного и славного, от тех бояр, которые царям в лицо правду говорили.

Может быть, именно от этой правды к тому времени и растерял этот род почти все свои богатства и привилегии.

Звали героя Константин Николаевич Утома-Стожаров. Последний отпрыск знаменитой семьи.

А роман его был таков: приехала на святки к соседним помещикам молоденькая их родственница, богатейшая девица, единственная дочь князей Курмышевых.

Маленькая, тоненькая, чернобровая, с глазами горячими и упрямыми, понравилась она Стожарову до отчаянности. Как вышло дело — неизвестно, но почему-то, вместо того, чтобы, как полагается, благородным образом объясниться и посвататься, он выкрал девицу и повенчался самокруткой, подкупив попа. Все было так обставлено, как будто княжна случайно одна вышла вечером в парк, воздухом подышать. И вот подкатила тройка, выскочили двое, подхватили де-

вицу, накинули ей шубу на голову и умчали, неведомо куда.

Странным только показалось, когда эту страшную историю рассказывали, что пошла девица дышать воздухом одна, на ночь глядя, по глубокому снегу и в самое глухое место парка.

Ну, да все это, конечно, пустяки, и кому какое дело. И все было бы хорошо, только папаша у княжны оказался очень крутой. Чересчур даже крутой. Он так разбушевался, что пошел чуть не войной на своего обидчика. Собрал дворню, мужиков и покатил отбивать дочь.

Стожаров войны не испугался, но жену, для безопасности, спрятал в женском монастыре.

Разбушевавшийся князь, не найдя дочери, поехал в Питер — жаловаться государю. Подняли целое дело, длившееся несколько лет. А пока старик бушевал, молодая Стожарова жила в монастырском домике, куда частенько, но тайно, заезжал к ней венчаный муж, и за шесть лет своего затворничества родила она двоих ребят — сына Николая и дочь Марью.

Дети росли в монастыре, жили жизнью полумонастырской, считали мать свою монахиней, и когда хотели выйти поиграть за ворота, кланялись в землю и просили:

— Разреши, матушка, в мир пойти.

Так прошло шесть лет. На седьмой год злющий старик умер, совсем, было, добившись развода для своей строптивой дочки. Она осталась единственной наследницей и переехала с детьми и мужем в свое имение. Тут выяснилось, что старик просадил на суды и кляузы чуть не все свое состояние.

Зажили Стожаровы на своей воле. Довольно дико зажили. Ссорились, бранились и любили друг друга,

как бешеные. Он ходил с арапником, щелкал собак, щелкал дворовых, гуляла плеточка и по жениной спине. И даже частенько.

Дворовые молодую хозяйку не особенно долюбливали. Вернее всего, что не нравилась она им своей худобой, смуглотой, чем-то острым, осиным, что было в ее лице. Не было в ней русской барской пышности, плавности, добродушия, некоей приятной дурости.

— Ишь, — говорили про нее, — змеища черная!

А была на деревне дура — зиму и лето в одной рубахе ходила и босиком — так дура эта сказала:

— Как есть змеища, только рогов и нехватает.

Деревенцы долго над этим думали, все боялись, нет ли тут какого дурного предсказания. Но так ни до чего и не додумались, а было тревожно.

Змеища была упрямая. Сам тоже уступать ей ни в чем не хотел, вот и грызлись. Дворовые девки тайно прозвали барыню «стрижено-брито». А значило это, что она, как в сказке про упрямую жену, которая мужу наперекор твердила «стрижено», когда муж говорил «брито». Все твердила «стрижено», пока муж ее не утопил. А когда захлебнулась насмерть, поплыл ее труп против течения, и рука из воды высунулась и двумя пальцами в воздухе тыкала — «стрижено», мол.

Прожили они бурно, но недолго, как-то на охоте хлопнул его удар.

Принесли его в дом умирающего, положили на диван, побежали за барыней.

Прибежала барыня, побелела вся и кричит:

— Да как же ты смеешь, подлец?

А он один глаз приоткрыл, увидел ее и стал холодеющей рукой шарить по стенке. Искал свой арапник.

Когда его хоронили, шла она за гробом и «неладом причитала»:

— Пес, верни-ись! Пе-с, побрани-ись!

Совсем так не полагается.

Оставшись вдовой, Стожарова замуж больше не вышла. К детям своим никакой нежности не проявляла. Особенно равнодушна была к девочке, которую быстро выдала замуж за помещика в дальнюю губернию и как бы окончательно о ее существовании позабыла.

Сына дома воспитывать не стала, а отослала его в дворянский пансион и мало интересовалась его жизнью и успехами в науках.

Когда он, уже студентом, приехал к ней на целое лето, она проявила, наконец, некоторое к нему внимание. Внимание это выражалось в том, что она каждый день говорила ему по одной, а то и по две неприятности и каждый раз внимательно смотрела, как это на него действует.

Но он, как будто, ничего и не замечал. А иногда так даже от души смеялся.

Внешне он был очень на нее похож. Ничего от Стожаровых, говоривших царям правду в лицо, у него не было. Те были огромные, плечистые. Он же был роста среднего, нервен, подвижен, сух. Лицо темноватое, как точеное из слоновой кости, тонкий, с горбинкой нос, горячие глаза. Любил книги. Читает, оторвется — прищурит глаза, думает, улыбается.

Мать приглядывалась к нему внимательно, как будто не все в нем понимала. И все искала, в чем его уязвимость, как бы его так кольнуть, чтобы вскрикнул.

Сидит за столом против него, ноздри вздрагивают, брови одна выше другой, губы сжаты.

Змеища!

— Странный ты, — говорит, — Николашка. По-

хож на семинариста. Уж не глуп ли ты, грехом, — вот чего я боюсь.

А сын улыбается, и вздрагивают похожие, как у нее, тонкие ноздри.

— Чего же ты, как неуч, все в книгах ищешь? Пора бы уж и своим умом жить.

— Ничего, маменька, не бойтесь, — улыбался Николай. — Постараюсь, как можно, скорее.

Стожарова, хоть и сильно разорилась, но дом держала в порядке и девок дворовых приближала к себе с выбором — красивых, чистых, здоровых. Одевала их в домотканину, и шились им платья по крепостному расчету, чтобы материалу выходило поменьше, — коротенькие, узенькие и без рукавов. Толстым, неуклюжим девкам придавал этот покрой вид не только безобразный, но даже и непристойный. Сройным, легконогим красавицам подчеркивал их природные достоинства выгодно и лестно.

Была, между прочим, среди таких приближенных некая Матреша, сильная, статная, чернобровая, с узеньким белым проборчиком ниточкой, рассекающим черные, блестящие и тяжелые, высоко и туго вплетенные в косы волосы.

Прически девки носили все одинаковые: две косы, высоко заколотые вокруг головы, чтобы открыт был весь затылок. Барский глаз сразу мог видеть, чистая ли у девки шея. Прическа отменно безобразная, но Матрешу и это не портило.

Нрава она была спокойного, но чувствовалось, что не очень-то простовата, а скорее себе на уме.

Ходила неслышно, звенела ключами, любила опускать ресницы, но не робко и не застенчиво, а даже как бы с достоинством, точно не желала глаза показывать.

И вот однажды, войдя в залу, увидела Стожарова, как эта самая Матреша влезла на лесенку и вытирает тряпкой хрустальные подвески на люстре. А у окна сидит ученый студент Николаша, книгу на пол уронил и смотрит на круглые розовые матрешины икры, смотрит изумленно и радостно, так что даже рот приоткрыл.

Маменьки он совсем и не заметил. А та долго молча глядела то на него, то на Матрешу, потом усмехнулась, тихонько притворила дверь и ушла, очень чем-то довольная.

На другой день Николай, собиравшийся в скорости уехать, сказал, что решил отъезд немножко отложить. Спешить некуда, погода хорошая. Говорил деловым тоном и в глаза не смотрел.

— Так, так, — одобрила маменька и ехидно прибавила:

— Вижу, что тебе мое общество полюбилось.

Сын на ехидство внимания не обратил. Стал меньше сидеть над книжками, часто уходил в парк.

Матреша чуть-чуть посмеивалась, попыхивала. В ушах у нее появились сережки с камушками.

Однако, долго Николай не засиделся. Пришло какое-то письмо, и по этому письму нужно было немедленно ехать в Питер.

Что-то было в этом нежданном вызове приятное. Николай сразу зажегся, вдохновился, уложился, рассеянно попрощался и уехал, даже не оглянувшись на крыльцо, где, по традиции, стояла мать, окруженная почтительно-любопытными рожами челяди.

Проводив сына, старуха долгое время приглядывалась к Матреше. Та была все такая же спокойная, только чуть-чуть побледнела да вынула из ушей сережки с камушками.

На следующее лето студент не приехал, а зимой прислал письмо, в котором, в очень восторженных выражениях, сообщал, что собирается жениться на неземной девушке, похожей на Мону-Лизу Джиоконду. Еще не зная ее, он дал слово ее умирающему брату, своему любимому другу, жениться на ней. И вот, похоронив друга, разыскал его сестру, жившую у своей тетки, и был поражен и ослеплен, и теперь счастлив безмерно и просит разрешения привезти невесту с ее теткой для знакомства, одобрения и благословения.

Стожарова ответила:

«Генваря, пятого дня.

Любезный сын Николай!

Рада буду видеть у себя твою невесту с тетками и заранее выбору твоему благосклонна и, наверное, она хорошего рода, а ты, из скромности, умалчиваешь. Жду тебя с нетерпением.

Любящая тебя мать

Варвара Утома-Стожарова».

Через две недели Николай приехал.

Приехал Николай, как сказано, с невестой и с невестиной теткой.

Тетка была так себе старушонка, и говорить о ней особенно нечего. Главное дело — невеста, Мона-Лиза Джиоконда, — Катерина Васильевна Парфентьева.

Надо сказать правду — она, действительно, была похожа на Джиоконду. Это-то и выходило особенно смешно, потому что внешность ее, несмотря на это сходство, никаких восторженных настроений и потрясающих поэтических мыслей не вызывала. Была Катерина Васильевна кругла, пухла, лобаста и безброва. Улыбалась напыженно сжатыми губами. Глаза свет-

лые, голубовато-серые, чуть навыкате. Смотрели с неизъяснимо бараньим равнодушием. Руки складывала накрест под ложечкой. Росту была довольно высокого, движения плавные, разговор спокойный. Часто говорила: — Нужды нет (с ударением на «у»).

— Пусть себе. Нужды нет. Я ему зла не желаю.

И тут же прибавляла:

— Пусть его Бог накажет в самом дорогом.

Обыкновенно все обращали внимание только на начало фразы: «Я ему зла не желаю». И, основываясь на этом начале, считали Катерину Васильевну добрейшей души человеком. Пожелание же, чтобы Бог наказал в самом дорогом, могло бы навести на мысль о лютой ее жестокости. Подумать только — «в самом дорогом»! Но тут бы и ошиблись, потому что произносилась эта фраза без всякой злобы, спокойно, «кругло» и как бы даже ласково. Просто, предоставлялось Богу расправиться со злодеем, а наше дело, мол, сторона.

На Варвару Григорьевну, будущую свою свекровь, Катерина Васильевна произвела впечатление самое удивительное.

Смотрела на нее Варвара Григорьевна во все глаза и все сама себе приговаривала:

— Ну-ну! Ну-ну!

И лицо у нее было такое, что казалось, будто не выдержит и расхохочется.

Николай посматривал на мать подозрительно, с невестой же обращался нежно и почтительно и, видимо, влюблен в нее был до восторга.

Старуха была с ней любезна, сама проводила ее в спальню и даже побеспокоилась:

— Смотри, Катерина, если будет холодно, вели в печку дров подкинуть.

А невеста отвечала спокойно:

— Нужды нет. Будет холодно — прикроюсь.

— Ну-ну, — покачала головой Варвара Григорьевна.

Поздно вечером прибежал к ней в спальню сын. Взволнованный, растревоженный, счастливый.

— Ну что? — спрашивает. — Ну как?

И лицо у него все было приготовлено к радостной, торжествующей улыбке.

— Ты это о чем же? — равнодушно спросила мать.

— Ах, Боже мой, да о ней. Понравилась? Ну говорите же — понравилась?

Старуха спокойно перебирала в вазочке лампадные фитилечки.

— Да я, свет мой, как говорится, еще толком не пригляделась. Вот как пригляжусь, так прямо все и выложу. Не бойся. Чистосердечия у меня не занимать стать.

Метнула на него глазком и снова за свои фитилечки.

Николай сразу угас, потемнел, сжался и ушел.

Прожили они так деньков пять.

Катерина Васильевна все такая же круглая, спокойная, и ни до чего ей «нужды нет».

Старуха рот поджимает, ноздри у нее так и ходят. Тетка сбитень пьет и чулки вяжет.

А Николай горит. Декламирует стихи, рассказывает, фантазирует. Очень он в то время увлекался римской историей. Рассказывал ярко, художественно, вдохновенно.

И случилось ему, на второй день по приезде, мешая в камине, обжечь себе углем руку. Образовалась корочка. И вот, когда он, рассказывая, входил в особый азарт, всегда невольно, от нервности, что ли, начинал тереть этот ожог. И всегда спокойная Катерина Ва-

сильевна плавным своим голосом перебивала его пламенную речь и остерегала.

— И вот на этой самой площади властолюбивая безумица проехала на колеснице по трупу своего мужа! — с горящими глазами декламировал он.

— Нужды нет! — останавливал его спокойный, будничный голос. — И зачем вы опять бередите себе руку? Ну, проехала какая-то бесстыдница по своему мужу — и нужды нет. Зачем же руку бередить?

На шестой день пришел Николай к матери уже не такой бурнопламенный, как в первый вечер, посмотрел на мать недоверчиво и спросил:

— Как же, маменька, ваше решение? Благословляете ли вы меня на брак с любимою мною девушкой? Понравилась ли вам Катерина Васильевна?

У Стожаровой нос побелел, губы задрожали.

— Что ж, — словно прошипела она. — Почему ж не благословить? И то сказать: умна, грасьозна. Самая будет настоящая Утома-Стожарова. Только тут у меня ей жить не приходится. Чай сам понимаешь, что такой барыне надо в столицах сверкать. Ты ее туда и вези. Я уже все и обдумала. Я мать, я должна о тебе заботу иметь. Пенсион тебе оставлю, какой был. Уж не взыщи, прибавлять не с чего. А для облегчения домашних забот пришлю вам свою дворовую девку, хорошую работницу. Твоя Катерина будет благодарна.

Слова сказаны, как будто, добрые, но такая нервная, злостная тревога шла на сына от этих побелевших губ, от вздрагивающих ноздрей, от пальцев, сжимавших ручки кресла, что он даже не нашелся, что ответить. Пробормотал растерянно:

— Пусть все будет по-вашему, как вам угодно, и спасибо вам за Катерину Васильевну.

После этого разговора он так и не наладился на прежнее настроение, быстро собрался и уехал, взяв с матери обещание приехать на свадьбу. Невесту с теткой увез с собой.

Варвара Григорьевна на свадьбу не приехала. Написала, что тяжело ей, старухе, такую дорогу ломать, а заочно благословляет. Прислала икону Казанской Божьей Матери, в серебряном окладе, старинную, семейную. И прислала еще, как обещала, дворовую девку для услуг, еще раз повторив, что Катерина за эту девку благодарить будет.

Девка эта была Матреша.

* * *

Зажили молодые не пышно, в небольшой квартирке на Васильевском острове.

Николай Константинович скоро угомонился на счет Моны-Лизы. Может быть, отчасти повлияло на него насмешливое недоумение приятелей, которых он предупредил об удивительно художественной внешности своей жены.

Один из приятелей, прославленный своим остроумием молодой профессор уголовного права, необычайно ярко изображал в лицах, как восторженно рисовал перед ним Николай облик своей невесты. Как они волновались, внимая ему. Он подготовлял их к этой встрече.

— И вот, — рассказывает профессор, — дверь открылась...

Здесь он делал паузу и заканчивал упавшим голосом, скороговоркой:

— И вошла Катерина.

Все, кто видел жену Николая и мог представить

себе эту Катерину, после восторженного предисловия — покатывались со смеху.

Дошла ли эта история до слуха Николая, или сам он, как человек умный, понял, что над ним посмеиваются, только он быстро прекратил свою декламацию. А может быть, и вообще поуспокоился.

Он ушел с головой в книги, стал сотрудничать в журналах, читать лекции. Влюбленные курсистки только что открытых высших женских курсов стаями забегали в маленькую квартирку молодого ученого. Приносили цветы, просили автографов, ревновали, ссорились, обожали, угрожали.

Бывшая Мона-Лиза окончательно выпучила глаза и смотрела на непонятную для нее жизнь, как баран на новые ворота.

— Матрена! — говорила она своей слуге. — Опять стриженые приходили. Открой форточки, табачищем пахнет. И чего они все тарантят? Выходили бы лучше замуж.

— Божественный! Единственный! — доносилось через запертые двери кабинета. — Расскажите еще! Каждое ваше слово...

— И не вари ты, Матрена, сегодня щей. Он со стрижеными сегодня разволнуется, а от щей начнет его пучить, будет сердцебиение. Начала варить? Нужды нет, отставь.

Матреша работала усердно, но, совершенно явно и не скрывая, презирала свою новую барыню. К Николаю Константиновичу относилась с подчеркнутой покорностью, говорила с ним, опустив ресницы, иногда исподтишка вскидывала глазком неодобрительно.

Прожила год, потом как-то вошла к Катерине Васильевне решительным шагом и сказала, задыхаясь:

— Вы меня, барыня, отпустили бы в деревню съездить. У меня там сын растет.

— Ну что ж, — спокойно отвечала Катерина Васильевна. — Неудобно будет без тебя, да нужды нет, отпущу тебя на побывку. Ну, иди себе.

Матреша еще больше задохнулась и не уходила.

— Да, барыня, у меня там сын растет. Димитрий Николаевич. Николаевич он.

И остановилась, злобно глядя на круглую, спокойную барыню. И видя, что та молчит, повторила:

— Я говорю, что Николаевич он. Николаевич, вот что!

Катерина Васильевна сложила руки под ложечкой:

— Ну, что ты, Матрена, право, заладила — Николаевич да Николаевич. Я тебя отлично слышу и отлично понимаю, и нужды нет. Привези его сюда, пусть живет при тебе, авось не объест.

Матрена от удивления даже побелела вся.

Ничего не сказала, повернулась и вышла.

В деревню, все-таки, поехала и своего Николаевича привезла.

Катерина Васильевна заботилась о ребенке, но никогда ни одним словом не напоминала Матреше об их разговоре. Матрешу стала называть Матреной Федоровной.

Та отвечала ей пламенной, фанатической преданностью.

Мальчишке дали образование. Из университета его выгнали за политику, он уехал в Женеву и много лет спустя «поработал на благо родины».

Николай Константинович никогда не замечал ни его, ни его матери. Жизнь Стожарова вращалась в другой орбите, у самого солнца.

О ней можно было бы рассказать много. Но уже

не иначе, как назвав его настоящим именем, для чего сейчас нет надобности.

Умер он от чахотки, уже в преклонном возрасте Умер красиво, «по-тургеневски».

Получил утром какое-то письмо, весь день все его перечитывал и грустно и счастливо улыбался.

А вечером нашли его в саду мертвым. Он сидел в плетеном кресле, у пышноцветного розового куста, держал в руке письмо и, низко склонив голову, прижался к нему губами.

Сошли в сад Катерина Васильевна и Матрена Федоровна, обе в одинаковых коленкоровых ночных чепцах и старушечьих бумазейных юбках в сборку.

Тихо ахали, качали головами и согласно жалели, что не догадались загодя послать за батюшкой.

МОЯ ИСПАНИЯ

В Петербурге зимой так темно, что у нас в классе только один урок — между одиннадцатью и двенадцатью — проходил при дневном свете, а утром и с часу дня уже при лампах.

Я сижу около окна и смотрю в голубые, мутные сумерки. Пухлая перинка лиловатого снега лежит на подоконнике. Легкие снежинки порхают в воздухе, сливаются в туман. Это от яркого желтого света больших керосиновых ламп там, за окном, все такое странно-сиреневое, грустное и невыносимо холодное. Завораживает зимняя сказка, уводит мечту в далекие снежные степи, в непроходимые леса, заваленные сугробами, где в глубоких берлогах спят мудрые медведи, прыгают по веткам проворные белки и рыщут голодные волчьи стаи...

Я рассеянно слушаю учителя истории. Но вот какой-то луч скользнул от его слов. Я насторожилась.

— Испания.

Он говорит об Испании!

Какое волшебное слово! Есть особая магия в звуковом названии каждой страны. Я не знаю, откуда берут начало эти имена. Вероятно, филологи знают. Для меня, пятнадцатилетней девочки, они непонятны, но магию этих имен я чувствую. ИСПАНИЯ. Отчего при этом имени кровь сильнее приливает к сердцу? В чем дело? В ударении на этом широком «а», в

созвучии «спа», в котором солнце. «С» звенит, «П» поет, «А» радуется. И все вместе — солнце.

Я не была в Испании, но как ярко я ее чувствую! Да и все мы, русские, — как мы ее любим! Ее красоту, ее искусство, ее темперамент и всю ту яркую, жестокую и вольную радость, которая не дана нам, северянам.

Учитель рассказывает о мавританском стиле, о единственной в мире красоте архитектурных памятников. Потом смолкает и, закрыв глаза рукой, тихо говорит:

— Всю жизнь я мечтал, что, может быть, на закате дней моих удастся мне поехать поклониться этой бессмертной красоте.

Он замолчал, и в классе стало тихо-тихо. И сумерки за окном сгустились, и ночь подошла ближе.

И вот через всю жизнь пронесла я это воспоминание. — Холодный зимний вечер, мутный сиреневый туман и этот старенький учитель, глядящий закрытыми глазами в жаркие видения своей мечты.

Кто-то вздохнул около моего плеча. Это моя соседка, моя подруга Мара. Я вижу ее розовую щеку, пушистые, золотые кудряшки.

— Мара, — шепчу я. — Мара! Поедем в Испанию. Мы теперь уже не сможем жить без Испании.

Мара вздыхает и тихонько, под столом, жмет мне руку. Это значит, что мы будем вместе мечтать.

У нас всегда были общие мечты. То мы собирались поступить в цирковые акробатки, то пойти в монастырь (да не просто, а непременно сделаться святыми и исцелять больных), то организовать крестовый поход и освободить гроб Господень от рук неверных, то ходить по дворам, крутить шарманку и петь, как Маруся отравилась, и нам будут бросать медяки, которые

мы отдадим неимущим. Была еще мечта — выйти замуж за фокусника. Уж очень было бы весело с таким мужем. Нальешь ему чаю, а он из своей чашки вытащит живого зайца.

Придумывала эти увлечения, большею частью, я, а Мара только разделяла их и сочувствовала.

Все это захватывало нас не надолго. Но мечта об Испании, вероятно, оттого, что зажглась она в нас в такой художественно нужной для нее обстановке, сильно и надолго поразила воображение. Мы повернулись к ней всем лицом нашей души, как цветы к солнцу. И жизнь помогла нам в этом отношении.

Как раз в это время у нас с особенным интересом занимались испанской литературой, театром, искусством, танцами. С огромным успехом шли пьесы испанского драматурга Лопе де Вега. Приезжие испанские танцоры завораживали своей, такой новой для нас, гордой красотой. Все наши белые, пухлые Наташи и Маши щелкали кастаньетами и топали каблуками. Даже модный салонный танец был тогда «Па д'Еспань».

Если говорить о психологии танца, то необходимо отметить редкое сочетание в испанском танце темперамента и благородства. Вся фигура кавалера, все его позы и жесты — гордые. Испанская жещина в танце горячая, но недоступная. Ни один народный танец не дает такого яркого и удивительного сочетания. Русская пляска — очень лихая и удалая, венгерская — бешеная, французская — унылая, немецкая — сладкая и тихая. Настоящий танец как роман в ритмическом музыкальном движении дала только Испания. И только она открывает нам красоту страстной и гордой души своего народа.

Русская литература много занималась Испанией. Профессор Жаков, по рождению зырянин, сын крайнего севера, читал в университете курс о Сервантесе. «Жизни человеческой мало, чтобы изучить этого замечательного писателя».

Наш известный поэт Федор Сологуб проводит в своих сочинениях идею, излучающуюся из русского восприятия души Дон-Кихота. «Возьму кусок жизни низкой и грубой и сотворю из нее легенду. Из Альдонсы, бабищи румяной и пошлой, создам Дульцинею».

Вспоминали и декламировали стихотворение Пушкина о «Рыцаре Бедном», о Дон-Кихоте. Перечитывали роман Достоевского «Идиот», героя которого прозвали Дон-Кихотом. Он немножко смешной и трогательный, с духом высокого христианского подвижника, и сохраняет в себе все черты «Рыцаря Печального Образа».

Два бессмертных типа дала человечеству Испания — Дон-Жуана и Дон-Кихота. Эти два типа так вошли в жизнь, что иногда стали как бы прилагательными для определения мужского характера. Все любители женщин называются у нас дон-жуанами. Все люди неподкупно честные, жертвующие, во имя принципа, собственными интересами, носят имя Дон-Кихота.

Русские женщины не особенно ценили дон-жуанов. Их вышучивали и высмеивали. Одна дама как-то рассказывала, что провожал ее домой известный в Петербурге дон-жуан, адвокат Т—в, прижал ее руку к своему сердцу и говорит:

— Дорогая, скажите «да», и этот дом будет вашим.

— Какой дом? — удивилась дама. — Ведь это же Зимний Дворец.

— Все равно, — отвечал дон-жуан. — Для моего чувства нет преград.

К Дон-Кихоту русские сердца относились с нежностью. Ему прощалось все смешное и нелепое. В нем видели РЫЦАРЯ.

* * *

Наша с Марой мечта об Испании то меркла, то вспыхивала с новой силой. И вот, года три спустя после рассказа учителя, оказались мы с ней обе на юге Франции, где семья Мары проводила лето. И как-то, гуляя, увидели мы в окне магазина учебник испанского языка. Назывался он «Разговор с испанцем».

— Купим «Разговор»?

— Купим.

«Разговор» оказался очень поучительным.

«Кто гуляет в нашем саду?

«В нашем саду гуляет старый профессор с коровой своего племянника.

«Сколько лет собаке вашего друга?

«Собаке нашего друга тридцать лет, но палка брата вашего почтальона находится в комнате жены сына юного школьника».

Все это было очень трудно, но, очевидно, совершенно необходимо для первого общения с испанцем.

Изучение этого руководства (мы дошли до десятого урока) натолкнуло нас на мысль проехать, хоть ненадолго, в Испанию.

Мать Мары ничего не имела против нашей затеи. У нее в Мадриде уже давно жил брат, старый женатый господин, у которого мы могли бы остановиться. На лето он переезжает на дачу в какой-то маленький го-

родок. Конечно, о том, чтобы мы болтались одни по отелям, не могло быть и речи.

Мы сначала протестовали, напирали на то, что нам уже по восемнадцати лет, и каждая из нас могла бы быть матерью семейства. Доводы наши не помогли. Оставалось или остановиться у дядюшки, или оставаться дома.

Послали телеграмму и, в ожидании ответа, принялись снова за разговор с испанцем. Дошли уже до сослагательного наклонения:

«Был ли бы счастлив кучер, если бы выкрасил крысу в голубой цвет».

О счастье кучера мы не узнали, потому что пришла ответная телеграмма. Короткая и без всякого восторга. Просто: «Пусть приезжают».

Мы сначала решили обидеться, но потом надумали, что выгоднее будет отнестись ко всему просто и мило. Старик, наверное, с причудами. Если бы не хотел нас видеть, так придумал бы какой-нибудь предлог. Телеграмма составлена неудачно, но в душе он, конечно, очень рад. Так и решили, что очень рад, и стали укладываться. Возбужденно и нервно болтали о бое быков, дон-жуанах, серенадах, о дворцах и музеях. Мара была легкомысленнее меня, поэтому кастаньеты и донжуаны занимали ее больше, чем дворцы и музеи. Меня они тоже занимали, но я ни за что бы в этом не призналась. В то время я выработала себе позу холодной и деловитой женщины, так называемой «умницы». Поза была скучная и не совсем честная, но вызывала одобрение взрослых и уважение Мары, с легким оттенком зависти.

Вечером, снабдив коробкой шоколада и строгими наставлениями, усадили нас в поезд.

Поездка предполагалась очень веселая, но ночь,

проведенная в душном дамском отделении, сильно нас утомила. Вдобавок, Мара схватила насморк, и въезжать с красным носом в Испанию, в страну солнечной мечты, казалось ей настоящей трагедией. Мы обе были в дурном настроении.

Станция, цель нашего путешествия, оказалась совсем маленьким захолустным вокзальчиком. По платформе толклись какие-то мужики с мешками и пилами и нервно ходил большими шагами прилично одетый молодой человек мрачного вида. Он посмотрел на нас, сдвинул брови и стал протискиваться через толпу прямо к нам.

— Смотри, — сказала я Маре, — вон какой-то испанец идет к нам. Это не твой дядя?

— Молчи, — шепнула Мара. — Начинаются испанские романы. Веди себя сдержанно.

Испанец подошел и спросил:

— Мара Линова?

— Да, да! — закричали мы по-испански. «Да» — слово легкое, из первого «Разговора с Испанцем».

— Здравствуйте, — отвечал он нам по-русски. — Я секретарь. Я вас сразу узнал.

— Почему же вы нас узнали? — кокетливо спросила Мара.

— Да ваш дядюшка сказал, что, как вылезут из вагона две растерянные индюшки, — это и будут мои племянницы.

Я очень обиделась.

— Я вовсе не племянница, — гордо сказала я. — И очень этому радуюсь. А во-вторых, мы ничуть не растерялись. Мы привыкли путешествовать.

Мара посмотрела на меня удивленно — никогда мы с ней не путешествовали. Но, кажется, была довольна. Поставили нахала на место.

— Надеюсь, дядя здоров? — спросила она самым светским тоном.

— Дядя? Ваш дядя, конечно, болен. Впрочем, в нашем доме все всегда больны, так у нас полагается. И люди и собаки.

— Что же с ним?

— Не знаю наверное. У собаки чесотка. Кажется, у дяди тоже. Он вчера уехал в Мадрид.

— Что же он там будет делать, раз у него чесотка?

— Не знаю. Будет чесаться.

Мы с Марой молча переглянулись.

Подошел шофер, подхватил наши чемоданы и понес их к выходу.

Сели в автомобиль. Я молчала. Мара сморкалась. Нос у нее был красный. Мы старались не смотреть друг на друга — так нам обеим было неловко за этого дурацкого секретаря. И неизвестно, что еще ждет нас впереди. Уж очень все складывалось беспокойно и невесело.

Ехали по узеньким тряским улицам очень недолго. Никакой Испании не чувствовалось.

У дяди оказался довольно большой дом с садом. Вошли в переднюю.

— Подождите здесь, сказал секретарь. Я пойду предупрежу вашу тетку.

Говорил он шопотом и как-то сразу утратил всю свою уверенность.

Мы стояли около наших чемоданов и, вероятно, действительно были похожи на двух растерянных индюшек.

Ждали довольно долго. Наконец, откуда-то из глубины вышла высокая пожилая дама с желтыми, взбитыми над лбом, волосами. Первое, что я поняла — дама не модная и очень сердитая.

— Которая из вас? — строго спросила она.

— Я, — кротко отвечала Мара.

— Значит, вы не получили моего письма?

— Мы получили телеграмму от дяди, что мы можем приехать, — лепетала Мара.

— Да, но я послала вдогонку письмо, что лучше не надо. Приглашать гостей из Франции, где сейчас такая ужасная эпидемия гриппа и так легко занести ее к нам, было очень легкомысленно со стороны моего мужа.

Она вдруг остановилась и уставилась прямо на Мару.

— Отчего красный нос? — в ужасе воскликнула она. — Нос! Нос красный!

— У меня просто насморк.

— Насморк! — всплеснула руками тетка. — Вот оно то, чего я боялась. В постель, в постель, сейчас же в постель! Лиза! — закричала она, повернувшись к боковой двери. Вы ждите здесь. Я сейчас распоряжусь, чтобы вас уложили.

Она быстро выбежала, сейчас же снова вернулась, схватила Мару за руку, вернее, за рукав, и потащила за собой. Я молча следовала за ней.

— Сейчас же раздеться и лечь, — скомандовала тетка. — Три дня на полной диэте, полный покой, а там видно будет.

— А я? — робко спросила я.

— Вы можете пока еще не ложиться, но из комнаты вам выходить абсолютно запрещается. Вы, наверно, уже захватили болезнь и совершенно не к чему разносить ее по всему городу. Будете сидеть вместе. Вечером вызову доктора.

Она вышла, нюхая какой-то флакончик, который вынула из кармана. В комнате осталась горничная.

Горничная стояла, сложив руки на животе, и смотрела на нас по очереди вопросительно.

Я вынула из сумочки испанский словарь и спросила ее, как ее зовут.

— Меня зовут Лиза, — отвечала она по-русски. У нас весь дом русский. Если что нужно, позвоните. Кушать вам подадут сюда.

— Нам ровно ничего не нужно, — сказала Мара. — И пожалуйста, уходите.

Горничная ушла, а Мара села на постель и заплакала.

Так просидели мы в карантине три дня.

Приходил доктор, что-то спрашивал, но так как в его фразах не было ничего ни про племянника, ни про собаку, то мы ровно ничего не поняли. Он, все-таки, приложил свое мохнатое ухо к нашим спинам, посчитал пульс, потрогал гланды и ушел, погрозив нам пальцем. Мне кажется, он заподозрил, что мы притворяемся больными, чтобы для чего-то надуть тетку. Вид у него был какой-то лукавый.

Еду приносила сама Лиза. Она сказала, что, судя по газетам, заграницей страшная эпидемия, и тетка боится заразы.

Марин насморк давно прошел, но она ужасно нервничала и боялась, как бы я ее не бросила и не уехала одна домой.

— Вот тебе и Испания! — хныкали мы. — Вот тебе и торреадоры, и дон-жуаны, и бой быков, и дворцы, и музеи.

— Но ведь выпустит же нас эта ведьма, в конце концов?

Кормили нас бульоном и рисовой кашей. От этого развилась в нас такая меланхолия, что мы забыли и о

дворцах и о торреадорах. Мечтали только о быках, да и то о жаренных.

Иногда дверь приоткрывалась, и просовывалась голова тетки, с носом, заткнутым ватой.

— Как температура? — спрашивала она.

— Нормальная.

— Это ничего не значит. Она может неожиданно подняться.

На второй день я сделала вылазку. Судя по голосам и хлопанью дверей, я поняла, что тетка ушла из дому. Тогда тихонько, чуть дыша, я вылезла. Спустилась по лестнице. Увидела большую столовую, направо кабинет. У окна стоял наш знакомый секретарь.

— Э-э-э-? — удивился он.

— Скажите, — спросила я, — что все это значит? Может быть, эта дама сумасшедшая? Ведь мы обе совершенно здоровы.

— Я в это вмешиваться не могу, — сказал он. — И вообще, советую вам со мной не разговаривать. Она сейчас вернется и, если застанет нас вместе, то или посадит меня тоже в карантин, или заставит на вас жениться, чего я вовсе не желаю.

— Ничего не понимаю, — растерялась я.

— Она очень строгих правил насчет нравственности.

— Господи! Я сейчас уйду! Сейчас уйду! Скажите мне только — здесь бывает бой быков?

— Что-о? Идите на бойню. У нас быков бьют только там, если вас это интересует.

Значит, все кончено. Надо как-нибудь отсюда скорее вырваться. Ни музеев, ни дворцов здесь, конечно, тоже нет.

Вечером мы долго обсуждали наше положение. В отель переехать нельзя. Вообще, должны жить у родственников или возвращаться.

— У тебя нет больше родственников в Испании? — спрашиваю я.

— Один испанец хотел жениться на моей кузине, да она ему отказала.

— Какая дура! Вот теперь мы могли бы остановиться у нее, а из-за ее глупости пропадаем.

На другой день тетка просунула голову в дверь и сказала, через вату в ноздре:

— Мара, я уже телеграфировала твоей маме, что вы завтра возвращаетесь домой.

Мы так растерялись, что только молча смотрели друг на друга. Дверь закрылась, но сейчас же снова открылась.

— Вам взяли билеты на пароход.

Всю ночь разрабатывали мы планы бегства. Бежать надо с пристани, сесть в поезд и покатить в Мадрид. Напишем домой, что тетка сумасшедшая и искусала нас. Но телеграмма уже послана. Выхода нет.

Уснули совсем расстроенные.

На другой день отправили нас на пристань. Провожал секретарь. Он сидел против нас и молчал. Вероятно, боялся, что его заставят на нас жениться. В автомобиле пахло какой-то дезинфекцией.

— Теткой пахнет, — шепнула я Маре.

Ехали довольно долго. Я даже не смотрела в окно. На Испанию я не сердилась. Она не виновата, что нам показали не Севилью, не Гренаду, не ту нашу мечту, которая столько времени волновала нас. Для нас, точно по заказу, выбрала судьба, вероятно, самый скучный уголок северной Испании, такой унылый, такой для нее нехарактерный. Мне было грустно. Я ведь не знала, какое чудо ждет нас, какой «литературный подарок» нам, обиженным, подарит эта чудесная страна, что мы увидим живыми, войдем в общение с

теми двумя легендарными, о которых только слышали и читали.

Но об этом речь впереди.

Так, в мрачном молчании, подъехали мы к пристани. И тут настроение сразу изменилось. Погода была чудная, яркая, самая «испанская», какую мы только могли себе представить. У пристани стоял небольшой и скверный пароходишка и дымил черным дымом. Но провожала его шумная и пестрая толпа. Секретарь сунул нам в руки наши билеты и скрылся, передав матросу наш багаж. Ему хотелось поскорее от нас отделаться.

Пароходик, грязный и какой-то бестолковый, оказался французским. Тем лучше, по крайней мере, мы могли объясняться, не прибегая к «Разговору с Испанцем». Оказалось, что тетка мест в каюте для нас не купила, а свободных уже не было. Да и не нужно. Дали на чай матросу, и он сейчас же раздобыл для нас два кресла на палубе. Чего же лучше?

Мы чувствовали себя отлично. Старались не думать об Испании — когда-нибудь, все равно, поедем. Но сейчас, в этот жаркий летний день, забыв тетку и все наши неудачи, мы смотрели на красивый город, по-праздничному говорливый и оживленный, и мы были счастливы.

Было приятно, что никто нас не провожает, что не надо выслушивать все те же наставления и требования писать, не надо притворяться благоразумными и взрослыми. Сознание чудесной, радостной свободы веселило нас. И море, самое синее из всех морей земных, тихо и ласково качало маленькие суетливые лодочки вокруг нашего парохода.

Какая пестрая толпа на пристани! Впереди провожающие и отъезжающие. Они обнимаются, целуются,

похлопывают друг друга по плечу, говорят напряженно и быстро. Подальше те, которые уже усадили своих друзей на пароход. Эти смотрят к нам на палубу, помахивают платочками и нетерпеливо топчутся на месте. Уйти неловко, а ждать надоело. Еще дальше — просто толпа зевак и мальчишек, для которых отплытие каждого парохода всегда праздник.

Мы с Марой смотрим, как на интересный спектакль.

Вот сердитый старик ссорится с носильщиком. Провожающее его многочисленное семейство очень взволновано и сконфужено. Семейству неловко перед окружающими, что старик так смешно бранится и даже плюется, но для поддержания престижа надо делать вид, что старик прав. Мальчишки из толпы зевак пролезли вперед и восторженно подпрыгивают — так им нравится хлесткая ругань старика.

Поближе к сходням стоит красивый смуглый молодой человек, со смоляными, сросшимися, бровями, очень нарядный: желтая шелковая рубашка, малиновый галстук, зеленый ремень перетягивает талию. Это уже настоящий испанец, совсем такой, каких мы видели на эстраде или в опере «Кармен». Его провожают три дамы. Одна из них все время плачет и что-то приговаривает, цепляясь за его рукав.

— Посмотри, — сказала Мара. — Видишь, вон Дон-Жуан и три жертвы. Каков красавец!

— А действительно, хорош, — сказала я.

И вот, смотрим, пробирается к нему еще дама. У нее в руках пакет.

— Это она ему бутерброды, — смеется Мара.

И вот около него новая дама. Эта кокетливо дает ему розу. Он улыбается, прижимает розу к губам, а дама поднимается на пароход. А та, которая плакала, спешно сует ему в карман какое-то письмо.

— Посмотри, какой смешной, — говорит Мара.

— Кто? Где?

— Да вон тот длинный, с мешком.

По сходням подымался человек на других не похожий. Не то, чтобы чрезмерно высокий, а именно длинный — так несоответственно росту был он худ. Лицо измученное, бледное, щеки провалились, рот как-то страдальчески полуоткрыт. Маленькая, жиденькая светлая бородка делала лицо еще длиннее. Глаза, большие и ясные, смотрели куда-то поверх толпы. Одет очень скромно и не по сезону тепло, в какое-то мешковатое пальто, свисавшее у него с плеч. За спиной рюкзак. На голове старая, мятая шляпа.

— Что это за птица? Ну, совсем Дон-Кихот!

И вдруг этот странный человек оглянулся и, увидя, что за ним идет дама, решил галантно пропустить ее вперед. Для этого повернулся, задел рюкзаком сердитую старуху, поднимавшуюся перед ним, приподнял шляпу, покачнулся и чуть не слетел в воду через канат, заменявший перила. Сердитая старуха бранилась, он извинялся перед ней и чуть не сшиб своим мешком шляпу с той самой дамы, которой хотел уступить дорогу. Кругом смеялись. Мальчишки на пристани свистели и визжали от радости. И действительно, сцена была на редкость комическая. Мара смеялась до слез.

Но вот наш Дон-Кихот поднялся на палубу и показал матросу свой билет.

— Каюта номер девятый, — говорит матрос, отворачиваясь от пассажира, с которым только что спорил.

Пассажир этот, толстый и красный, опирался на костыль. У него одна нога деревянная. Дон-Кихот остановился и слушал спор.

— Вы обязаны дать мне каюту! — горячился безногий. Я не успел взять. Вы же видите, что мне необ-

ходимо лежать. Вы бесчеловечны. Это вы обязаны понять.

— Мы поступаем по закону, — отвечал матрос, не поворачивая головы. — Кто заплатил за место, тот его и получил. Этак всякий полезет в каюту. Свободных мест нет, а своего места вам никто не уступит. Проходите, не задерживайте.

И тут выступил наш Дон-Кихот:

— Нет, вы не правы, — сказал он матросу. — Вы ошибаетесь, если думаете, что никто не уступит места больному человеку. Пожалуйста, друг мой.

И он, вежливо приподняв шляпу, отдал безногому свой билет.

Матрос презрительно фыркнул, а безногий даже не поблагодарил и, сердито что-то ворча насчет ловких малых, которые всегда пролезают прежде всех, заковылял прочь.

— Эй, вы! — закричал ему вслед матрос. — Деньги! Деньги-то не забудьте вернуть этому господину.

Но Дон-Кихот замахал на него руками.

— Тссс!... Не надо, друг мой, ставить людей в неловкое положение. Будьте спокойны, он непременно вернет мне деньги. Я в этом вполне уверен.

Дон-Кихот повернулся, смазав матроса по лицу своим мешком.

— Эй вы! — закричал тот. — Снимите ваш мешок, а то вы всех пассажиров перекалечите.

И вот наш пароход, точно охрипший человек, вдруг захрипел, завыл, и через вой и хрип прорвался отчаянный вопль гудка. И еще раз, и еще раз. Около сходней появились два матроса. Пристань заволновалась. Отделились отъезжающие, быстро побежали вверх по сходням, какой-то жиденький оркестрик заиграл марш. Откуда он, этот оркестрик? С пристани? С нашего

парохода? Матросы втянули сходни. Пароход задрожал мелкой нутряной дрожью, и пристань стала медленно поворачиваться.

— А-ах! Как красиво!

Дивная синяя красота неба и моря, музыка жиденькая, но такая веселая, и на носу парохода, как резная фигура, украшавшая старинные корабли, стоит наш Дон-Жуан, эффектно выгнув свой гибкий стан и откинув руку со шляпой тем роскошным жестом, каким приветствуют толпу торреадоры, или кланяются своей даме испанские кавалеры.

— Мара, милая, ведь это, все-таки, Испания!

Красавец сделал последний приветственный жест и, повернушвись к палубе, окинул взором новую арену своих побед. Взглянул на Мару, улыбнулся, сверкнули зубы, озарили молнией смуглое лицо. Дон-Жуан подошел к нам и, вежливо приподняв шляпу, попросил разрешения сесть рядом. Сел.

— Мара, берегись! Он тебя завоюет, — сказала я.

Мара смеется. Она очень хорошенькая. Достает из сумочки зеркало и проверяет свое оружие — брови, губы, белокурые завитки около ушей. Все в порядке, все на месте, можно смело идти в бой.

— Как ты думаешь, кто он? — спрашиваю я.

— Наверное, торреадор.

Но я человек трезвый.

— Уж непременно и торреадор! Не можешь ты без романтики. Я другого мнения. По-моему, он просто коммивояжер. Продает теплые набрюшники.

Мы смеемся. Нам все весело, все смешно.

Там, около трубы, сидит нахохлившаяся фигура Дон-Кихота. Он низко опустил свой длинный нос и, кажется, уснул. И так и не догадался снять свое неуклюжее пальто.

— Сеньора руссо? — спрашивает Дон-Жуан и играет глазами.

Мара неопределенно мотает головой.

— Испано? — спрашивает она, указывая на него.

Он ничего не отвечает, только улыбается, и прищуренные глаза его мерцают сквозь длинные игольчатые ресницы.

— Да, да, — говорю я. — Конечно, испанец. Дон-Жуан.

Он от души смеется, показывает рукой на удаляющийся берег и говорит, на ломаном французском:

— Они все меня так называли.

— Вам положили записку в карман. Что же вы не читаете?

Он вынимает письмо, выразительно смотрит на Мару и медленно рвет письмо на мелкие кусочки. Потом театральным жестом бросает кусочки за борт.

— Вот, — говорит он Маре. — Все кончено, потому что я встретил вас.

Мы все дальше уходим в море. Береговые чайки еще провожают нас, но их все меньше и меньше. Никто не бросает им хлеба. Они быстро поняли, что от нас толку мало, и поворачивают домой.

Люди, возвращающиеся с моря, гораздо приветливее. Они радуются чайкам, как первым вестницам с родного берега, и всегда бросают им черствые корки, от которых, к тому же, все равно, надо отделаться...

Солнце сильно припекает.

Пышная брюнетка, наверное, настоящая южная испанка, развалилась в кресле и обмахивается веером. Удивительное дело, но южане гораздо хуже переносят жару, чем мы, люди севера. Помню, на Кавказе, приезжавшие по делам англичане в самую лютую жару ходили в крахмальных воротничках и не снимали пиджа-

ков, тогда как местные жители расстегивали ворот рубашки, изнемогали и изнывали, как в паровой бане.

Пароходный служитель стал разносить на подносе лимонад со льдом. Наш Дон-Кихот приподнял голову. Сидевшая против него в кресле толстая старуха тоже оживилась и поманила к себе лимонадчика.

— Сколько стоит? — спросила она.

Тот что-то пробормотал.

— Что-о? — протянула старуха с негодованием.

Тот в ответ буркнул что-то не совсем вежливое и пошел дальше. В эту минуту Дон-Кихот вдруг вскочил и схватил его за плечо.

— Так не отвечают даме, — строго сказал он. — Сейчас же подайте даме стакан.

Лакей сердито сунул стакан старухе. Та заворочала глазами. Дон-Кихот приподнял шляпу и раскланялся.

— Деньги! — мрачно сказал лакей.

Дон-Кихот отскочил и, оттянув лакея в сторону, что-то назидательно внушил ему. Потом нашарил у себя в кармане кошелек и, долго отсчитывая, заплатил. Потом раскланялся перед старухой и сел на свое место, низко опустив голову.

Старуха молча сосала лимонад и крутила глазами. Она, повидимому, была совсем дура и даже и объяснить себе не старалась милый жест Дон-Кихота. Во всяком случае, она его не поблагодарила.

— Она, вероятно, думает, что это от парохода полагается: на каждой палубе по Дон-Кихоту, — смеялась я.

— Он очень странный. Правда? — задумчиво сказала Мара.

— Чудак, — сказала я.

Дон-Кихот весь сгорбился и опустил свой длинный нос. Он был похож на больную птицу.

Скоро нас позвали обедать. Дон-Жуан куда-то исчез. Дон-Кихот продолжал спать.

Когда мы снова вышли на палубу, то увидели, что он сидит на полу, на своем мешке, а на его стуле уселся какой-то господин.

— Вы понимаете, — говорил господин, — в каюте ужасная духота. Я плохо переношу духоту. Вот я немножко освежусь и тогда снова уступлю вам ваше место. Вы уходили, вот я его и занял.

— Да, я пошел купить только воды, — успокаивал его Дон-Кихот. Но это ничего не значит. Пожалуйста, оставайтесь.

— Я видела, — шептала мне Мара. — Он пил эту скверную воду из крана. Он глотал, и у него кадык шевелился. А для толстой дуры купил лимонад.

— Ужасно смешной, — сказала я.

Мы разыскали наши кресла, Их никто не занял. Дон-Жуан был уже там.

Наступал вечер. Море переменило цвет. Оно стало как-то серьезнее, отдавая всю игру и яркость красок закатной заре. Янтари, кораллы, переливный жемчуг растворило солнце прощальными своими лучами. А там, с другой стороны, откуда шла на нас ночь, уже плыли синие и лиловые тени, расстилая темный ковер под ноги ее.

— Смотрите, — сказала Мара, — как красиво заходит солнце.

Дон-Жуан пригнулся к ней и чуть слышно пропел ласковым говорком по-испански. Потом перевел на французский:

«Я не знаю, зашло ли солнце,
Потому что я вижу только тебя».

Но Мара не смотрела на него. Она смотрела в сторону Дон-Кихота.

Дон-Кихот вытащил из своего мешка завернутый в просаленную бумагу бутерброд, раскрыл его, понюхал середину, покачал головой и вытряс эту начинку в воду, за борт. Потом стал грызть хлеб. Погрыз немножко, потом снова завернул в бумагу и засунул в мешок.

— Бедный, — сказала Мара. — Должно быть, никто о нем не заботится.

— Я не знаю, зашло ли солнце, — снова пропел Дон-Жуан, — потому что я вижу только тебя.

— Как он мне надоел! — шепнула Мара.

— Куда вы едете? — спросил Дон-Жуан. — Я хочу проводить вас. Я сам еду в Париж, но я могу порвать контракт и поехать с вами.

— Какой у вас контракт? Вы артист?

Он улыбнулся и вдруг встал в позу. Изогнулся, поднял руку над головой, защелкал пальцами, словно кастаньетами, и, тихо напевая что-то воркующе-нежное, повернулся несколько раз, покачивая своими узкими боками, не сводя глаз с Мары. А та все поглядывала в сторону Дон-Кихота.

— Браво! Браво, Фернандо! — закричал женский голос.

Я обернулась. Это была та дама, которая дала ему розу.

— Еще! Еще! — просила я.

— Браво, Фернандо! — закричал чей-то бас.

Очевидно, его знали. Теперь было ясно, что это профессиональный танцор. Он благодарно улыбнулся и, отбивая такт ногою, снова запел. Он пел недолго. Потом подошел к даме, давшей ему розу, и стал с ней разговаривать.

Я закрыла глаза и задремала. Я очень устала. Утром — от сумасшедшей тетки, потом езда в автомобиле, потом море, солнце, болтовня Дон-Жуана. Я не

знаю, поет он еще или замолчал. Пароходная машина отбивает темп его пляски. Какой у него знойный голос! «Я не знаю, зашло ли солнце...» Море, пронизанное огнем заката, все в радостном пурпуре, и этот южный голос... Испания! Вот она, моя, моя, моя Испания! Ночь лимоном и лавром пахнет... — Откуда это? Я это не сама выдумала. — Через ночные черные листья виноградника мелькает огонек сигаретки. И стучит, стучит о камни деревянный каблучок... — Откуда это? Я это, кажется, где-то читала. — Вот оборванный аккорд гитары... Сейчас ее несет кто-то под плащем. Чуть-чуть подстроит ее, подтянет струны и найдет аккорд, найдет мелодию для этого горячего голоса, воркующего слова, которых мы не понимаем, а только чувствуем. Ах, как она чудесна, моя Испания! Только бы не отошла она от меня. Нет. Вот опять зазвенела гитара. Она под моим балконом. Я перегнусь через перила и улыбнусь тому, который поет. Вот он закинул голову, и белые зубы его осветили смуглое лицо.

— Дворцы Испании, музеи, — говорит голос старого учителя. — На закате дней моих поклониться этой бессмертной красоте.

Да! Да! Я знаю... Альказар... Прадо... Гойя... Знаю. Но воздух Испании, который я сейчас вдохнула в этом звоне гитарном, в аромате непонятных слов, — этого учитель не знал. Может быть, все это приснилось мне. Ну, что ж. А ему и присниться не могло...

Я открываю глаза. Как жаль, что я проснулась.

— Мара, — говорю я. — Я сейчас была в Испании.

Но Мары нет около меня. Должно быть, я долго спала. За это время уже совсем стемнело. Палуба плохо освещена маленькими лампочками. Но где же Мара? Ни ее, ни Дон-Жуана нет. Ушли вместе. Нет. Вот я разглядела нашего Дон-Жуана. Он около кра-

сивой дамы, которая дала ему розу. Она кокетливо улыбается, откинув голову. Дон-Жуан сидит спиной ко мне. Он меня не видит. Когда я прохожу мимо, он нежно говорит своей даме:

«Все равно, я поеду туда, куда едете вы». — Я хорошо поняла эту фразу, потому что он перевел нам ее на французский, когда говорил Маре. Но где же Мара?

Иду. Ищу.

Мара сидела на полу, около нашего Дон-Кихота. Она слушала его, приоткрыв рот, и лицо у нее было восторженное и как бы похудевшее. Она повязала голову полосатым платочком и стала похожа на сестрицу Оленушку из старой русской сказки. Она нервно повернулась ко мне и сказала с досадой:

— Подожди! Не мешай!

Я, конечно, сразу обиделась.

Дон-Кихот стал тяжело подыматься из уважения ко мне. Мара схватила его за край пальто.

— Нет, нет, сидите! Она сейчас уйдет.

Напрасно она мной распоряжается. И не подумаю уходить.

Они говорили по-французски.

— Он совсем болен, — сказала она мне, и губы у нее задрожали. — И какой он чудесный! И я непременно хочу познакомить его с мамой.

Я села тоже на пол и обняла Мару за плечи.

— Очень хорошо, если он чудесный. Только совершенно не к чему так волноваться, — сказала я покровительственно.

— Ах, ты не понимаешь... Он едет во Францию, чтобы поднять дух у одного нехорошего человека. Он его повезет в Лурд, и человек воскреснет.

— Вы понимаете, — заговорил Дон-Кихот мечтательно. — Этот человек, в сущности, очень хороший, но

он этого не знает. Он думает, что он мне сделал много зла, ужасно много зла, но он не знает, что это даже очень хорошо.

— Ты слышишь? Ты слышишь? — шептала Мара и до боли сжимала мне руку.

— Почему же это хорошо, что он сделал вам зло? — спросила я.

— Я стал больше думать. Я был прежде счастлив и думал, что так и надо быть счастливым. А когда он у меня это счастье отнял, я понял, что свое счастье любить нельзя, а только чужое.

— Когда же вы будете в Лурде? — лепетала Мара. — Я тоже туда приеду. Можно? Вы позволите?

— А вы уверены, что вы этого нехорошего уговорите ехать в Лурд? — спросила я.

— Не знаю, — грустно сказал Дон-Кихот. — Но я должен сделать все, что только смогу. Если не поедет, я придумаю что-нибудь другое.

— А я уверена, что он ненавидит вас, — сказала я. — Люди всегда ненавидят тех, кому сделали зло.

Он покачал головой.

— Вы такая молодая, а душа у вас нездоровая, если вы можете думать такие плохие вещи. И главное, это все неверно.

— Помолчи, пожалуйста, — сердито прошептала мне Мара. — И не говори о том, чего ты не понимаешь. Слушай этого замечательного человека.

— Какое зло он вам сделал? — развязно спросила я. — Наверное, отнял у вас жену?

— Он не отнял, — помолчав, отвечал Дон-Кихот. — Он просто ей понравился, и она ушла к нему. Она бы не ушла, если бы я не предложил отдать ей мое состояние, и она была бы несчастна. Она любила этого человека, но он бы бросил ее, если бы она была без

средств, потому что он хотел быть богатым. Было бы не по-рыцарски, с моей стороны, не помочь женщине, с которой мы были близки шесть лет. Конечно, это надо было сделать очень деликатно. Но через три года она его бросила для другого. Ее осуждать нельзя. Это такая фантастическая головка!

— Вы, значит, едете его утешать? Он совсем дурень, — сказала я Маре по-русски.

— Нет, не утешать, — спокойно отвечал Дон-Кихот. — На эту тему говорить с ним было бы неделикатно. Не по-рыцарски. Я просто хочу поднять его мораль и, может быть, смогу помочь материально. Я сейчас небогат, по правде говоря, довольно беден, но у меня есть кое-какие возможности. Мне для себя ведь ничего не нужно, но для него смогу что-нибудь устроить. А главное — если бы удалось поднять его дух! Моя задача именно в этом.

Он был трогателен. И в том, что он нам, совершенно чужим девчонкам, так просто раскрывал самое заповедное своей души, было что-то детское, беззащитное и, вместе с тем, высокое. Мне уже не хотелось подсмеиваться и только назло Маре я пробормотала:

— Какое ребячество. Все равно, из этой ерунды ничего не выйдет. Деньги ваши он, разумеется, возьмет, а потом над вами же будет смеяться.

И тут Мара вся затряслась, отбросила мою руку со своих плеч и, чуть не плача, закричала:

— Уходи прочь! Умоляю тебя, уходи! Оставь нас в покое. Уходи сейчас же! Я ненавижу тебя.

Я встала и сказала презрительно:

— Уйду, милая моя, и без твоей просьбы. Теперь втюрилась в Дон-Кихота. Поздравляю. Неужели ты не понимаешь, что меня от вас тошнит. Типичная «ам сляв». Дуреха несчастная.

Повернулась и ушла.

Светало. Стало холодно. Грустно заалел восток. Все было грустно. Пароход тихо покачивался, постукивал машиной, точно потерял дорогу и бродит по морю без смысла и без цели. Все кругом уныло дремали. Дон-Жуан спал, положив голову на колени дамы с розой. Я завернулась в плед и улеглась в своем кресле, протянув ноги на кресло Мары. Я знала, что она не придет.

Отчего я была такая грубая? Боже мой! Отчего не могла побыть с ними ласково? Нет, непременно надо было показать себя умницей. И как я нехорошо с ним говорила, с таким милым, простым, с таким чудесным человеком. Пойти бы поклониться, сказать — простите меня, я знаю, что я гадина.

Вспомнился чей-то афоризм: «Когда рыцарь сражается с ветряной мельницей, то побеждает всегда мельница. Но это не значит, что она права».

И вот теперь эта мельница лежит, завернувшись в плед, и дрожит, и хнычет, как побитый щенок.

А Марочка, бедная, как она вся затряслась! Боже мой, до чего все это невыносимо! «Ам сляв» — посмеялась я над ней. «Ам сляв». А сама-то я кто же?..

* * *

На пристани нас встретила веселая и нарядная марина мама. Мара обняла ее и тихо плакала. А через толпу заплетающимися ногами пробирался к выходу Дон-Кихот. Он покачивался и толкал всех своим рюкзаком. Его бранили, над ним смеялись, но он ничего не замечал. Высоко подняв голову, длинный и нескладный, он смотрел куда-то вверх, и на шее у него был завязан, смешным дамским бантиком, марин полосатый платочек.

ТРИ ЖИЗНИ

Клиентка была недовольна. У нее на носу большие черные поры. Она пришла в «иститю де ботэ» именно для того, чтобы у нее нос стал белым и, по возможности, атласистым, но без блеска. На ощупь атласистым, а на вид бархатистым. А барышня трет его без толку, и он только распухает.

— Позовите сюда вашу хозяйку!

Хозяйка, мадам Кэтти Руби (для старых друзей — Катюша Рубова), высокая, стройная, с платиновыми волосами и нечеловеческими ресницами, подошла деловым шагом, взяла со столика лупу и, прищурив глаза, исследовала капризный клиенткин нос.

— Лосион номер третий, — обратилась она к служащей барышне, трепетно, как ассистентка знаменитого профессора, ожидающей предписания. Барышня была тоже платиновой блондинкой, и ресницы у нее тоже были нечеловеческие, но все это, выдержанное в более блеклых, почтительных тонах, отмечало ее зависимое положение.

— Лосион номер третий, — с приветливой улыбкой повторила Кэт Руби, обращаясь на этот раз к самой клиентке. — Это тот лосион, который употребляю я сама.

— Ну, вы такая молодая, вы не пример, для вас все хорошо, — проворчала клиентка.

Кэт Руби загадочно улыбнулась.

— Шер мадам, — сказала она. — Может быть, я и молода, но я живу свою третью жизнь и была когда-то старой бабушкой.

— Вы сделали себе эстетическую операцию? — догадалась клиентка.

Кэт хотела что-то ответить, но ее спешно отозвали к толстухе, которую чересчур перепарили в парафиновой ванне.

— Что значит «третья жизнь»? — думала клиентка, смотря ей вслед.

* * *

Это было в самом начале революции.

Вернулись офицеры с фронта. Вернулся с ними и Гриша Рубов, катюшин жених, и Вася Таневич, муж катюшиной сестры Маруси.

Время было страшное и тревожное, и тем не менее, молодость брала свое, и от опасностей и лишений жизнь казалась только интереснее и счастье острее.

Справили потихоньку катюшину свадьбу. И вскоре после этого оба офицера ушли воевать с красными. Сестры остались в Москве.

Но старая жизнь все еще, как будто, не обрывала своей линии. Оставалась прежняя квартира, по которой бродила и ворчала прежняя старая нянюшка. Оставались еще уцелевшие платья, шубы, друзья, эстетические интересы.

— Ах, как дивно играл Качалов!

— Ах, нужно пойти в оперу!

Милая прежняя жизнь еще не отпускала, она медленно гасла, оживляясь мгновенными вспышками, все еще обещая окрепнуть, оправиться, расцвести попрежнему.

Потом стали уходить из дому красивые ненужные вещи — люстра, зеркала, бронзовые подсвечники, ковры. Ушли. Потом ушли сервизы, отцовская шуба. Да что долго рассказывать, — путь обычный. Когда ушли вещи, пришлось уйти самим.

Двинулись на юг.

Был у Катюши томный поклонник, танцовавший с ней на балах танго. У поклонника была на Кавказе дача.

— Поезжайте туда, — умолял он. — Там сейчас безопасно. Дача отличная. Как только смогу пробраться, приеду к вам туда. Не отказывайтесь. Ведь это для меня счастье!

Сестры с радостью согласились. Деваться, все равно, было некуда.

Маруся катюшиного поклонника не любила.

— Почему, когда он говорит, мне всегда кажется, что он врет. Ведь вот, наверное, у него есть дача, он человек богатый, а все кажется, что врет.

— Это тебе завидно, что он не за тобой ухаживает, — любезно объясняет Катюша.

Звали томного поклонника Володя Брик. Определенного занятия у него не было, но неопределенных было несколько. Он субсидировал разные артистические кабарэ, режиссировал благотворительные спектакли и напечатал сборник стихов «Пожар в сумасшедшем доме», который, «к стыду всего цивилизованного мира», зарезала цензура за неприличие.

Он был недурен собой, элегантен, но почему-то отпускал длинные ногти какого-то темножелтого цвета. Влюбленные актрисенки собирались даже писать ему анонимные письма: «Божественный, обстригите ногти».

Выражение лица у него было действительно такое, как будто он врет.

Но, к удивлению сестер, дача у него действительно оказалась.

— Не удалось соврать, — решила Маруся.

Зажили вчетвером, с нянькой и марусиным сыном, четырехлетним Петей.

Веселая Катюша не унывала, бегала по горам и пела французский романс — «Si tu m'aimais» и бержеретки.

Дошли вести о мужьях. Сначала хорошие. Здоровы, собираются навестить. Потом плохие. Разбиты, отступают.

Время настало плохое. Все попрятались. Многие потихоньку скрылись. Нянька стала закрывать ставни, чтобы с дороги не видели, что на даче живут. И в это беспокойное время родила Катюша дочку Лялечку.

Появились печальные предвестники близкой грозы — пропали бабы-торговки, опустел базар. Стало голодно и неуютно. Надвигалась осень.

Получила Маруся с фронта весть. Ее муж опасно ранен. Написано было странно — слово «ранен» зачеркнуто и потом подчеркнуто волнистой линией — значит, верно. Верно, что ранен. Потом приписка другим почерком: «Будет доставлен немедленно».

Маруся бросилась бегать по городским лазаретам.

Раненых было множество. И все прибывали новые. Катюша помогала ей в розысках. Обе с утра уходили. Нянька забирала детей и шла сидеть к попадье, с которой завела дружбу.

Вот раз приходит Маруся домой и еще издали видит — стоит на крыльце длинный ящик. Подошли ближе — гроб. Сколочен из кривых досок и видно в щели защитную рубашку, лицо. Маруся упала на

ступени и стала кричать. И долго так лежала и кричала, и проходили мимо люди и не смели к ней подойти.

Так нашла ее, вернувшись, нянька и позвала соседей, чтобы помогли ее поднять.

Потом оказалось, что тело Васи принесли солдаты. Дома никого не было, ждать они не могли и оставили на крыльце.

После того, как увидала Катюша, как лежала ее сестра у гроба мужа и как кричала, почувствовала она — как будто, обрываются все золотые нити прежней жизни и начинается жизнь вторая.

* * *

Получили письмо от Гриши Рубова. Он встретился с томным катюшиным поклонником, с Володей Бриком, и тот уговорил его пробраться к нему на дачу, навестить Катюшу.

Время было очень опасное. За дачей следили темные люди. Соседи знали, что сюда принесли убитого офицера, слышали, как офицерша плакала.

Рубов и Брик пробрались с трудом, переодетые, грязные, бородатые, прогостили одну ночь, и ту просидели впотьмах, и снова ушли.

Через несколько дней после их посещения, как-то вечером, Катюша, уже улегшаяся в постель, взяла покормить маленькую Ляльку. Нянюшка стояла тут же. Катюша ничего особенного не слышала, а нянька вдруг насторожилась, кинулась в другую комнату, где окно выходило на улицу, ахнула; схватила с кресла шаль, завернула Катюшу.

— Пришли! Скорей в коридор, лезь в окно, беги к попадье, она спрячет.

Толкнула Катюшу в коридор, а в парадную дверь уже стучат прикладами, звонят, кричат.

Катюша, как была босая, в одной рубашке, только шаль на плечах, вылезла через окно, спрыгнула в кусты, ободрала ноги. Прислушалась. Слышит — галдят у крыльца, но больше не стучат, верно, нянька двери уже открыла.

Нагнулась Катюша, прокралась ползком к забору, перелезла и — бегом, через дорогу, через овраг, на гору, к церкви, туда, где попов домик. Самого священника давно уже не было, и куда девался — неизвестно. В те времена о пропавших людях расспрашивать считалось неделикатным.

Сразу в дом, конечно, не вошла, а поскреблась у окошечка. Открылось окно, высунулась голова в платке.

— Матушка, вы?

— Никак Катерина Сергеевна? — шопотом спросила голова.

— Спасайте, матушка. К нам пришли, наверное, меня ищут.

Голова ахнула, захлопнула окно. Потом свет в доме погас, тихо-тихо приоткрылась дверь.

— Иди сюды!

Катюша шмыгнула в дом.

Рука поймала ее в темноте.

— Сюды, тихонько спускайся в погреб. Коли тебя дома не нашли, так обязательно сюда нагрянут. И чего тебя ко мне принесло? У меня уже четыре раза обыск был.

— Нянька послала.

— Эка старая дура. Ну, иди, иди, полезай в кадку.

Темно, хоть глаз выколи. Попадья чиркнула спичку. Увидела Катюша подвальчик, в нем дрова, бочки, ломаные колеса.

Погасла спичка. Толкает попадья Катюшу.

— Да лезь же скорей в кадку.

Нащупала Катюша края. Кадка высокая, пахнет рассолом. Перекинула ноги, влезла, скорчилась.

— Вот так, — говорит попадья и закрыла ее сверху рогожей.

— Сиди, не дыши.

Ушла.

Тихо стало. В ушах звенело. Рассолом пахло густо. Сначала это было ничего, потом стало тошно. Заболели колени, зазнобило. И вдруг подумалось: — вот тебе и «Si tu m'aimais»

И так сразу глупо показалось, так нелепо, что она, Катюша Рубова, которая так чудесно танцует танго, и вдруг босая, в одной рубашке, сидит в кадке из-под огурцов. Даже засмеялась.

Что делалось наверху, она не слыхала. Как будто, хлопали двери. Потом заснула. А потом время пошло так странно, что уж ничего нельзя было разобрать. Кто-то зашептал над головой. Думала, что кажется, но шопот повторился:

— Вот, поешь. Пить не хочешь? Пока еще не приходили. Уже рассвело. Ночью Оська тебя поведет к зеленым. Вот юбка, закройся. Холодно?

Шопот стих и опять никого.

Нащупала теплую юбку, кусок хлеба с салом. И снова заснула.

Просыпалась несколько раз. Все кости ломило. Над головой слышались шаги, чуть-чуть гудели голоса.

Наконец, снова шопот:

— Ну, бедочка, вылезай. Ползи наверх. Дверь на улицу открыта. Как выйдешь за калитку, сразу поверни и иди вдоль забора. У мостика тебя Оська переймет. Там уже пойдешь за ним.

— А как же Лялька? — вспомнила Катюша. — Ведь у меня там ребенок остался.

— Да что уж там, авось, нянька доглядит.

— А сестру не тронули?

— Нет. Ейный муж ведь убит. Это на тебя показано, что двух офицеров переодетых укрывала.

— Да ведь никто же не видел! — удивилась Катюша.

— Один из двух видел, — загадочно отвечала попадья. — Ну, иди, иди.

Катюша поцеловала ее.

— Прощайте, голубушка, спасибо за все.

Жутко было на улице. Накрапывал дождь. Больно было босым ногам, непривычным, еще помнящим медлительно-томные па танго.

Около мостика, где-то внизу, шевелилось темное. Шепнуло:

— Иди, иди, не бойсь!

Мальчишка лет двенадцати вылез наверх.

— Иди. Я поведу. Я — Оська.

Шли всю ночь. И все в гору.

Моросил дождик. Земля, глинистая, скользила под ногами. Ступишь шаг — съедешь на четверть.

Маленький Оська шел впереди. Иногда оборачивался, не то подбодрял Катюшу, не то понукал:

— Ну, ну! Ползи, что ли.

Очень был деловой и сердитый этот Оська.

— Ты что же, — спросила Катюша, — служишь у матушки или родня ей?

— Внучатый племянник. Ползи, ползи.

— А ты, Оська, верно дорогу знаешь?

Оська хмыкнул что-то, не поймешь, что.

Под утро Катюша совсем выбилась из сил. Повалилась прямо на осклизлую траву и заплакала.

Оська вытащил из-за пазухи кусочек хлеба и дал ей.

— Вот это бабушка для тебя дала.

Хлеб был сухой, пах козлятиной, верно, от оськиной пазухи. Катюша пересилила себя, откусила кусочек. Отвращение пропало.

— Все-то не ешь, — остановил ее положительный Оська. — Еще далеко идти.

Поплакавши, встала, поплелась дальше.

Когда рассвело, разглядела Катюша своего вожака. Он был белобрысый, даже ресницы белые, как у теленка. Нос задран ноздрями кверху, рот большой, бледный, зубы щербатые. Одет рваненько, босой.

— Откуда ты, Оська, дорогу знаешь?

— А я от бабушки часто к зеленым хожу. Теперь сейчас до лесу доберемся, а там уж близко.

В лесу разрезала себе Катюша об сук ногу, стала хромать. Выломал ей Оська палку, пошла, как старуха, с клюкой.

По лесу идти еще труднее было. Крымский лес весь колючий, неласковый, всюду иглы, все запутано, перепутано лианами, на лианах шипы. Руки, ноги у Катюши в кровь ободраны. Ветхая юбочка, которую дала ей попадья, вся в клочьях. Остановится Катюша, поплачет и дальше идет. А Оська ничего. Только покрикивает:

— Ну-ну! Чего же?

Наконец, забелело что-то в кустах, — а уж дело было к вечеру, — запахло дымом.

Оська остановился и закричал басом, как деревенские мальчишки на лошадей кричат:

— Сво-э!

Свои — значит.

Раздвинул кусты и вывел Катюшу на полянку, а на полянке и был зеленый лагерь.

Горел костер. Дым его и был то самое белое, что Катюша заметила меж кустами.

Несколько кривых низеньких палаток, шалаши, как на картинках из жизни индейцев. Тут же паслись три-четыре стреноженные лошади. Людей видно не было. Из-за шалаша вышел какой-то бородатый, волосатый, по обмоткам на ногах — солдат, по голове — поп. Взглянул на Оську, спросил:

— А газетку не прихватил? А Леврона еще нету.

Оська подошел к нему поближе.

— Я, — сказал, — ждать не могу. Вон привел эту. Бабушка наказала, чтобы здесь ее спрятать, пока что. И, значит, накормить. А я ждать Леврона не могу, там хватятся.

Волосатый мотнул головой.

— Ладно. Я передам. Иди сюда, бабуся, — обратился он к Катюше. — Садись у костра, грейся. Скоро наши придут, будем варить чего-нибудь.

Катюша села, уткнулась головой в колени и заснула. А, засыпая, подумала:

— Почему же он меня бабусей назвал? Ведь мне же только двадцать восемь лет.

Проснулась от гула голосов. Приоткрыла глаза, не поднимая головы. Видит — толпятся у костра люди. Не то мужики, не то солдаты, все грязные, все рваные. Бабы ни одной не было.

Разговаривали вполголоса.

Вот кто-то тронул ее за плечо.

— Матушка прислала? Ну, что ж, ночуйте здесь, у костра, здесь теплее будет.

Катюша молчала. Все так странно, как во сне. Не к чему и говорить.

Потом кто-то, — верно, тот, что с ней разговари-

вал, — дал ей какую-то жестяную крышку. В крышке была налита бурда, вроде жиденькой каши.

— Хлеба сегодня нету.

Катюша глотнула бурды и снова опустила голову на колени.

— Вот, — думала, — верно, так и умру. Не надо об этом думать, надо думать о хорошем, о маленькой Ляльке.

Но о Ляльке думать было страшно.

О завтрашнем дне — совершенно невозможно.

Скоро придут белые. И муж и влюбленный Брик сейчас же разыщут ее.

Вспомнилось последнее свидание, ночь в темном доме, без огня, шопоты, протянутые руки.

— Ты?

— Вы?

— Катерина Сергеевна! Ваши ручки! Вы не можете переодеться крестьянкой. Ваши ручки вас выдадут. У вас ручки маленькой принцессы.

Это извивается Володя Брик.

На рассвете оба ушли.

—Ах, — шепчет Брик. — ах, если бы умереть за вас!

Рано утром лагерь зашевелился.

Кто-то потряс Катюшу за плечо.

— Тетенька, а тетенька! Мы до вечера все уйдем, а ты можешь здесь оставаться. Собирай в лесу валежник, поддерживай костер. Вот тебе. Больше ничего нет.

Большая заскорузлая лапа сунула ей четыре картофелины. Она молча взяла.

— И чего это я все молчу, как идиотка? — подумала она.

Утро было туманное.

— Надо уходить, пока туман, — сказал кто-то. — Можем слева спуститься, нас снизу и в подзорную трубу не увидать. Облако нашу гору отрезало вчистую.

Тихо гудели голоса.

— Сколько их тут? — думала Катюша.

Протягивались руки к костру, брали уголек, закурить трубку.

И долго еще сидела Катюша, в полудреме, в полубыли. А когда совсем проснулась, было светло, туман ушел, костер догорал, и кто-то, тыкая в него палкой, шевелил угли.

— Ага, бабка, проснулась.

Это был вчерашний полусолдат-полупоп.

Катюша поднялась, потянулась и почувствовала, что еле двигается, — так все у нее болит.

Спросила:

— Куда они все ушли?

— А кому куда надо, тот туда и пошел, — неохотно отвечал полупоп.

— А много их здесь? — опять спросила она.

— А вот коли не лень, встань ночью и посчитай. А я, между прочим, тебя ничего не спрашиваю. Вот и понимай.

— Что же мне понимать?

— А то, что про свое молчи, о чужом не спрашивай. Теперь поняла? Поди-ка лучше веток наломай, костер поддержать, — строго приказал он, повернулся и пошел. А уходя, проговорил вполголоса, но отчетливо и с большим чувством:

— Ну, что ни баба, то дура, что ни баба, то дура. И отчего это, Господи!

Весь день бродила Катюша голодная, холодная. Полупоп куда-то скрылся.

К вечеру, чтобы не попадаться никому на глаза,

залезла Катюша сбоку, под чужой шалаш. Побаивалась она, все-таки, этих зеленых.

Когда стемнело, загудели тихие голоса, стали люди собираться.

Точно в сказке — полезла красавица на печку и смотрит, как в избу входят молодцы-разбойнички.

С ее места хорошо был виден костер и силуэты вокруг него. Были люди вооруженные и явно военной выправки. Были и мужики, ходили косолапо, вразвалку. Разговор слышался простоватый.

— Оттентелева. Сюдою пройтить ближе, тудою легше.

— И чаво же это, туды-растуды!

— Чорт твою двадцать.

И вдруг ясно и определенно тихий басок сказал по-французски: — Ça n'empèche pas...

Конца фразы она не слышала. Другой голос отвечал, трудно было разобрать — что, но, по звуку. тоже по-французски.

— Галлюцинации, — решила Катюша.

Хотелось есть. У костра что-то варилось, черпали, накладывали в котелки.

— А где-же наша старуха? — спросил кто-то.

Катюша высунула голову, поискала глазами. Любопытно было, что за старуха у них такая.

— Эвона она где!

И шаги направились прямо к ней.

— Иди, бабуся, получай свой паек, — добродушно сказал длинный парень, тощий и курносый, похожий на смерть в хаки.

— Да почему же они меня старухой считают? — удивилась Катюша.

Она тяжело поднялась и, припадая на больную ногу, поплелась к костру.

Там дали ей в черепушке мутную жижицу, горячую до блаженства.

— И рукам тепло, и щекам тепло, и животу жарко.

Поела и поползла к себе, под чужой шалаш.

По дороге поглядывала исподтишка — кто бы это такой говорил по-французски? Но никого подходящего не нашла и решила, что ей показалось. Но верить не хотелось, что показалось. Как-то спокойнее было бы, если бы, действительно, здесь очутился барин, говорящий по-французски. И даже неизвестно, почему спокойнее. Может быть, он прохвост хуже всех.

И так прожила она больше недели и все только удивлялась, почему не умирает и почему не хворает. Уж очень было холодно.

И вот как-то вечером, когда все улеглись, остались у костра только двое. Один — мозглявый мужичонка, раздевшись до пояса, грел у огня бурую свою спину с острыми, как щепки, лопатками и заботливо выбирал из снятой рубахи насекомых, приговаривая:

— Эх тех-тех, и и-эх тех-тех.

Потом повернулся к соседу и сказал:

— Mais ça ne peut pas durer...

А сосед был катюшин знакомец, полупоп-полусолдат!

Утром вдруг поднялась в лагере суетня. Стали быстро складывать палатки, забрасывать костер землею.

— Эй, бабка! — окликнул ее кто-то.

Это был тот, который разговаривал с ней в первый вечер и дал ей есть. — Эй, бабка! Мы уходим. Большевики близко. Уходите скорее.

— Куда же я денусь? — ахнула Катюша.

— Бегите к матушке. Она решит. Спускайтесь все вниз и вправо. Если и встретите их разъезд, они вряд

ли вас тронут. Лупите скорее. Если вас тут найдут — беда.

Катюша побежала вниз.

Выбравшись из лесу, встретила трех конных солдат.

— Эй, бабуся, ты чего?

— Кони ушли. Коней ищу, — ответила она спокойно, сама удивляясь. Что за чортов маскарад! Ей двадцать восемь лет, и она для всех старая бабка. Вшивый мужик беседует с голодранцем на французском языке.

— Не удивлюсь, если Оська окажется камер-юнкером высочайшего двора. Растеряли мы все. И облик и душу.

Вечером выждала, когда совсем стемнеет, стукнула к матушке.

Старуха открыла оконце.

— Господи, спаси и помилуй! Никак Сергеевна! Чего же ты пришла?

— Ушли зеленые.

— Мамочки мои! Что же я заведу? Ну, уж входи, лезь в кадку.

Но прежде кадки напоила ее старуха, в кухне, горячей водой, — чаю не было. Дала кусочек хлеба.

— Завтра проведет тебя Оська через горы в Карсинск. Там тебя никто не знает, а здесь попадешься, здесь тебе шагу ступить нельзя.

— Одного не пойму я, матушка, — сказала Катюша, — кто мог наших выследить? Пришли поздно, ушли — еще темно было. Никто их не видел.

— Как «кто»? Разве не знаешь? Такой с твоим мужем приятель приходил, он и выдал.

— Брик! — ахнула Катюша. — Быть не может!

— Он самый. Их обоих поймали, обещали свободу,

если скажут, кто их укрыл. А не то расстрел. Муж-то твой успел бежать, ну, а Брик и выдал.

— Меня! Меня предал! Такой ценой свободу купил!

— Ничего не купил, — спокойно сказала матушка. — Расстреляли.

Научила матушка Катюшу, как придет в Корсинск, сразу направиться к тамошней матушке. Она свой человек и много народу спасла и укрыла. Она либо у себя спрячет, либо куда-нибудь пристроит. На нее надеяться можно вполне.

Хотелось Катюше хоть глазком взглянуть на свою девочку, но об этом и заикнуться не посмела. Одно матушка разрешила — послать с Оськой записочку, без подписи: «Жива, здорова». Сестра почерк узнает.

На дорогу дала матушка Катюше немного хлеба и чесноку.

— Нечего нос морщить. Без чесноку нипочем не дойдешь. В нем сила.

Платья никакого дать не могла, только тряпочку-повязочку на голову да парусиновые туфли.

Так и пошли они с Оськой снова по горам, по долам, по дремучим лесам.

Туфли в первый же день размякли, пришлось опять шлепать босиком. Ели только хлеб да чеснок.

— Удивительная штука, этот чеснок, — говорила Катюша. — Гадость, жжет, воняет, тошнит, прямо голова кружится, а будто, от него легче. Словно дурман.

Часто Катюша садилась прямо на дорогу и плакала. Оська деловито выжидал, точно она дело делала. Потом шли дальше.

Несколько дней все подымались. Раз вечером на-

брели на стоянку. Горел костер, грелись люди. Катюша испугалась, но Оська подошел смело.

— Свои, зеленые. Тут большевиков еще быть не должно.

Зеленые дали место у костра, накормили горячим.

Потом еще несколько раз высоко на горах встречались эти «свои». Давали хлеба и чесноку.

— Ешь, бабуся, чеснок.

— В ем лекарство мышьяк, — объяснил какой-то ученый оборванец. — От его сила в мускулатуре и в грудях.

Шли они с Оськой долго, день за днем. Брела Катюша, как пьяная, качалась, закрыв глаза.

Потом стали спускаться. Думала, будет легче, а вышло еще труднее. Горы размякли, текли вниз оползнями, ноги скользили, приходилось цепляться за кусты, за камни, идти боком, нащупывая ногой, куда ступить.

Наконец, после многих-многих дней пути, увидела горизонт широкий и синий — море. А внизу, под ногами, городок. Это и был Корсинск! Спускались к нему осторожно, прятались за камни.

Оська живо разыскал матушкин домишко. Дело здесь велось совсем недоверчиво. Матушка в дом к себе не пустила, а вышла для переговоров за калитку.

— Стало быть, матушка Агния Петровна вас посылает? А как же я вам поверю?

Тут выступил Оська.

— Так ведь я же Оська. Ну?

— Н-да. Это так, — согласилась матушка.

Она была высокая, сухая, взгляд острый, но какая-то словно бестолковая или уже очень напуганная. Подумала, поморгала.

— Ну, ладно. Идите.

Вошли в узенький коридорчик. Темно, тесно. Пахло

кислым хлебом. Через щель запертой двери поглядел чей-то глаз, и дверь прихлопнули покрепче. Слышались приглушенные голоса.

— Я тебя, Оська, покормлю, — сказала матушка, — да и иди себе домой. А вы, тетенька, не знаю, как величать, поместитесь пока что на кухне, а там, Бог даст, пристрою вас куда-нибудь. Доить умеете?

— Не знаю, не пробовала, — испуганным шопотом отвечала Катюша. — Должно быть, умею. Даже наверное умею. Даже отлично умею.

Попадья покачала головой, вздохнула.

Поместила она Катюшу у себя на кухне с большой русской печкой. За этой самой печкой постелила на полу войлок. Это была для Катюши постель.

Домишка был маленький. Всего две комнаты и кухня.

В одной из комнат, крошечной, — только кровать, стол да шкап, — жила сама. В другой, побольше, жили какие-то старик со старухой. Спали они на полу, на шубах. Дверь к ним всегда была плотно заперта, но как-то раза два-три удалось Катюше случайно увидеть, что есть в комнате еще не то ломаная кровать, не то просто скамейка, а на ней лежал какой-то белокурый мальчик, большой, лет пятнадцати. Про стариков хозяйка от Катюши не скрывала.

— Мои жильцы, двое старых.

Про мальчика никогда ни словом не обмолвилась и, видимо, старалась, чтобы Катюша совсем не знала о его существовании.

Каждый день заходили к матушке разные оборванцы, в которых легко было распознать бывших офицеров.

Часто слышала Катюша, как спрашивали:

— Князь и княгиня дома?

И потом шопотом:

— А как «он»? Лучше ему?

Из этого она поняла, что старики — какой-то князь с женой, а мальчик — важная птица, а кто именно — так и не смогла узнать.

Офицеры относились к мальчику с большим почтением, приходили убирать комнату, мыть пол и чистить сапожки и иногда вызывали старика в коридорчик и шопотом расспрашивали о здоровье. И были очень озабочены.

— Пароход придет за ним через две недели. Необходимо, чтобы к этому времени он мог стоять на ногах.

— Кто же этот мальчик? — мучилась Катюша. — Уж не наследника ли они спасли? Князь и княгиня, старики, валяются на полу, а ему лучшее место. Или оттого, что больной? И почему офицеры так о нем почтительно расспрашивают? Ну, и дела здесь делаются!

Странная вещь — о себе Катюша все это время както мало думала. Вся душа у нее сжалась, съежилась, потускнела, заснула. И когда плакала она, по дороге, то не о судьбе своей, не о том, что потеряла мужа, ребенка, сестру, что предана на муку изменой близкого друга, — нет. Она плакала просто от голода, холода и усталости. Даже будущее было для нее как-то безразлично.

У матушки в кухне висело грязное, мутное зеркальце. Катюша с любопытством взглянула в него. Взглянула и горько засмеялась. Действительно, с облупленного стеклышка уныло глядело на нее изможденное бабье лицо, обветренное, в бурых пятнах, с голубовато-бледным ртом, оттянутым книзу двумя скорбными морщинками. Из-под грязной головной повязки выби-

валась прядка волос, светлых — можно принять за седые.

— Бабуся! Вот оно что. Бабуся. Ну, что ж — тем лучше.

Почему считала она, что хорошо в двадцать восемь лет быть старухой, она и сама не знала. Но чувствовала, что так спокойнее и больше подходит к ее душевному состоянию.

Матушка усердно искала для нее какого-нибудь места.

— Я вас не спрашиваю, кто вы такая, — сказала она Катюше. — Помещица или офицерша — раз матушка Агния за вас просит, я всегда готова помочь. Назовитесь каким-нибудь простым именем, ну, Агафьей, что ли.

— Хорошо, пусть буду Агафьей, — рвнодушно согласилась Катюша.

— Руки только вот у вас очень уж неудобные.

— Неудобные? — удивилась Катюша.

— Ну, да. Выдают сразу. Вы их прячьте под платок, что ли. А то вот возьмите чугунок золой оттирать. Это вам живо ногти объест, да и кожа полопается, загрубеет. Ничего, Бог даст, живо руки испортятся.

После этого разговора пошла Катюша в кухню, посмотрела в зеркальце, кивнула головой.

— Здравствуй, бабка Агашка. Не унывай. Бог даст, будут у тебя скоро хамские лапищи.

Раз поздно вечером слышала она, как старый князь шептался с хозяйкой в коридоре. Подкралась к двери, подслушала. Князь был чем-то обеспокоен.

— Княгиня тоже видела, — шептал он.

— Ну, чего вы, право, — успокаивала его хозяйка. — Во-первых, она к вам в комнату никогда не загля-

дывала и даже ни о чем понятия не имеет. Во-вторых, она сама всякого боится. Ну, где ей шпионить, в таком ли она положении?

— Вы понимаете, как все это опасно, — бубнил старик.

— Да она и уйдет скоро. Я ее на место определяю.

— Да кто она такая? На вид совсем простая баба. Чего же бабе прятаться. Не понимаю. Как ее фамилия?

— Фамилию я вам сказать не могу. Зовем ее просто Агафьей. Да вы не беспокойтесь.

Они еще что-то пошептали. Катюша отошла от двери.

— Значит, матушка меня на место определит. И то ладно. А старые дураки меня боятся. Вот до какой чести дожила.

Дня через два после этого разговора произошло событие. Ночью заговорили в коридоре взволнованные голоса, затопали ноги.

— Английская миноноска! Английская миноноска!

Слово это повторялось во всех падежах.

Люди входили, уходили.

— Да тише вы, ради Бога! — предостерегал голос хозяйки.

Наконец, хлопнула входная дверь, скрипнула калитка и все смолкло.

Бросилась Катюша к окну. Увидела, как быстрым шагом уходили четверо. Один, как будто, недоросток. Ночь была темная, разглядеть было невозможно.

На другое утро, выйдя в коридор, увидела Катюша, что дверь к старикам открыта, старая княгиня подметает пол, а на ломаной кровати, вместо мальчика, сидит сам старый князь. Тут она поняла, что мальчика ночью увезли.

Вскоре после этого события привела хозяйка в кухню здоровенного бородатого мужика.

— Вот, — сказала, — Агафья, ты говорила, что умеешь доить. Ну, если и не очень умеешь, так научишься. Вот это козодой, у него козы. Будешь ему в хозяйстве помогать и за козами смотреть, молоко разносить, там уж он скажет, что и как.

— Та-ак-с, — сказал козодой и посмотрел на Катюшу ласково. — Ты, тетенька, раньше-то что работала?

— Да я больше так, в роде такого, то-есть по хозяйству и шила.

— У меня надо за козами ходить. Доить-то умеешь али городская?

— Ну, кто ж не умеет доить? — сказала Катюша обиженным тоном. — Что я урод, что ли, что не смогу козу подоить?

— У меня четыре, — сказал козодой и снова посмотрел на нее ласково.

— Ну, чего долго думать, — решила матушка, — бери платок, Агаша, да и марш.

— А вещи ейные? Я бы заодно прихватил, — сказал козодой.

— А вещи я потом сама занесу, — отвечала матушка, легонько подталкивая Катюшу к выходу.

— Интересно, — подумала Катюша, — какие такие вещи она принесет.

Козодой жил за городом. У него был домишко — не свой, он нанимал. Было кое-какое хозяйство, но главное дело — козы. Он продавал молоко и приготовлял сыр, такой острый и пахучий, что Катюша потом несколько лет не могла отделаться от впечатления этого запаха. Во сне снился.

Доить оказалось и трудно и противно. Когда при-

села она в первый раз около толстой старой козы, козодой крякнул:

— Эх, ты раззява, чего ж ты не с руки села?

Катюша растерялась и не сразу поняла, в чем дело. Обошла с другой стороны.

— Господи! — молилась она. — Хоть бы этот дурень ушел, я бы одна лучше наладилась.

Потянула отвратительную козью резинку. Молоко зажурчало, ударило струйкой.

— Бррр!

Коза повернула голову и посмотрела прямо на Катюшу. Посмотрела тупо-вопросительно.

— Ну, чего же ты смотришь? — вздыхала Катюша. — Не смотри. Сама знаю, что выгонит.

Но козодой не выгнал.

Он, напротив того, влюбился.

Жилось Катюше у козодоя недурно — спокойно и сытно.

Она стала поправляться, пополнела, зарумянилась. К работе привыкла скоро, да и козодой особенно ее не утеснял. Он был добродушный.

Звал он ее сначала бабкой, потом тетенькой, а под конец красавушкой. Так на этом и остановился.

Очень удивлялся на ее руки.

— Как же ты, — говорил, — красавушка, огороды копала? Пальчики у тебя тоненькие.

— А я больше по городскому делу работала. Шила, убирала.

Он качал головой.

— А мне все кажется, будто ты и не из простых.

— А то из каких же? Из сахарных?

А раз напевала она французскую бержеретку, обернулась, а он стоит, глазами хлопает.

— Это ты по-каковски?

— По-каковски? — спокойно переспросила Катюша. — Разве ты не понимаешь? Это я по-татарски пела. У нас там татарин жил, я от него и переняла.

— Ишь! — задумчиво сказал козодой. — Вот ко мне иногда татарин сапожник ходит. Так я у него спрошу.

Катюше это не особенно понравилось.

Прожила она у козодоя уже несколько месяцев, как вдруг он ей говорит:

— Давай, Агаша, повенчаемся. Будешь хозяйкой в доме, а мне тоже ведь жениться пора, уже восемь лет вдовею.

— Вот так штука, — подумала Катюша. — Придется отсюда уходить.

И стала она козодоя уговаривать:

— Ну, какая я тебе жена. Я для тебя стара, тебе нужна баба молодая, работящая. А я, видишь сам, из портних, работать у тебя, как следует, никогда не навыкну. Вот приходила к матушке Маша, огородница, — вот это для тебя подходящая будет. Молодая, красивая, здоровая. А на мне жениться — только жизнь загубить.

— А когда я по тебе сохну, — сказал козодой и покрутил усы.

— А ты погоди. Вот я к тебе приведу Машу, так поймешь, по ком нужно сохнуть.

На другой день пошла к матушке узнавать насчет Маши.

У матушки нашла перемену. Старики уехали. Вместо них, жила какая-то тоненькая барышня с пожилой дамой.

— Ах, вот хорошо, Агаша, что ты пришла, — встретила ее хозяйка. — Вымой у них окошко, я не могу — плечо ломит.

Катюша охотно согласилась, решила заодно прибрать все в комнате.

— Пол мыть не надо, — сказала дама. — Вчера один офицер вымыл. То-есть один вообще... — поправилась она, поймав предостерегающий взгляд барышни.

— Опять здесь что-то творится, — подумала Катюша.

Барышня сидела на кровати, опустив голову и беспомощно уронив руки.

— Вот никогда, никогда не принимайте этой позы, — внушительно сказала дама. — Это страшно характерная поза. И кто «их» хоть раз видел, тот сразу вас узнает.

— Я не буду, не буду! — испуганно взметнулась барышня.

— Я уж много раз вам на это указывала, — с упреком сказала дама. — Вы простите меня, я ведь для вас, для вашей безопасности.

Она покосилась на Катюшу и сказала несколько слов вполголоса по-английски. Катюша не поняла.

Когда она убрала комнату, барышня остановила ее. Дама в это время вышла.

— Я бы хотела чем-нибудь отблагодарить вас, — сказала барышня. — Но у меня ничего нет. Вот могу вам дать на память...

Она порылась в тряпье, сложенном в ногах кровати, и вытащила беличью курточку.

— Она мне не нужна, я на-днях уезжаю. Далеко. Там тепло. А вы ее непременно сохраните на память. Ее когда-то носил сам насл...

В это время вошла дама, и барышня осеклась.

— Я отдала эту курточку, — сказала она, виновато

улыбаясь. — Мне ведь не нужно, а этой женщине очень пригодится.

— Если вам это угодно, — почтительно, но недовольно сказала дама.

Катюша вышла.

—Что она сказала? Она как будто сказала «наследник». Если так, то как же она сюда попала?

Она расспросила хозяйку о Маше, разыскала эту Машу, глупую, румяную девку, и позвала ее к себе в гости, с тайным умыслом сосватать козодоя.

Девке понравились козы и хозяйство, и она быстро выяснила, что не прочь все это себе привенчать. Сам козодой, повидимому, тоже общего впечатления не испортил, и, в смысле оценки, шел сразу после коз и сеновала.

Катюша всячески направляла воображение козодоя на Машу.

— Вот это баба! Вот это хозяйка! Вот это жена, так жена. А что я? Такую и в люди показать совестно. Ничего толком не умею, руки как лапша. Не упускай, хозяин, своего счастья.

Козодой настроился.

А Катюша сбегала к матушке просить, чтобы нашла ей новое место.

Барышни больше не было. Уплыла на английском пароходе в те края, где беличьих курточек не носят.

Катюша набралась храбрости, спросила у матушки, кто была эта барышня.

Матушка поджала губы, подняла брови — удивляется, да и только.

— Не понимаю, про кого вы говорите?

— Ну, про ту, у которой я окно мыла и комнату убрала.

— Ровно ничего не помню, — недовольно отвечала матушка, повернулась и пошла прочь.

Но тут Катюшу задело это недоверие к ней.

— Матушка, а матушка! — крикнула она вслед. — А ведь эта самая барышня подарила мне ту самую меховую курточку и сказала, что ее надо беречь, как память кое о ком.

Матушка сердито обернулась.

— Над вами подшутят, а вы и всерьез. Зайдите дня через два, тут у одной купчихи искали работницу.

Сердечные дела козодоя быстро приняли надлежащий уклон. Назначили свадьбу через три недели. Козодой еще поглядывал на Катюшу и говорил, как бы в недоумении:

— Экая ты какая этакая. Н-ну, ну!

Очевидно, нравилась-то ему, в сущности, Катюша, но понять этого он не мог, так как она его убедила в необходимости любить именно толстую Марью.

Тем временем, матушка устроила Катюшу в работницы у купчихи.

Купчиха была совсем простая, но почувствовала в Катюше былую барыню и любила повздыхать при ней о прежних временах. Шептала, трагически закатив глаза:

— Боюсь, Агафья, не стали бы они антилягенцию бить. Мне-то еще помирать неохотно.

Служила она у купчихи довольно долго, как настоящая баба. Втянулась в работу, поправилась, пополнела, похорошела. Но вместе со здоровьем и молодостью, явилось у нее сознание своей загубленной жизни, воспоминание о муже, тоска по ребенке. Она пела бержеретки, потому что душа у нее проснулась, а проснувшись, вспомнила и затосковала.

Так служила она у купчихи. И ходил к этой куп-

чихе немец, из бывших колонистов, по имени Юхан. То-есть по-настоящему звали-то его Иоган, но Юхан было легче выговаривать.

Был он обыкновенный, белобрысый, белоглазый, пухлый, типичный колонист. Страдал тяжелой сентиментальностью.

Ему очень понравилась Катюша.

Он говорил ей:

— Вы не Агафья. Не верю. Вы другой человек, и вас надо отсюда увезти.

Катюша сначала не обращала внимания на его слова, потом как-то решила поговорить?

— Куда же можно меня увезти?

— Заграницу.

— А как?

— Выходите за меня замуж. Как жену смогу увезти.

— Да я же замужем.

— А кто это знает? Паспорт у вас есть?

— Нету.

— Так надо добыть.

И придумал Юхан такую штуку. Пусть Катюша идет на базар и там начнет вдруг кричать благим матом, что ее обокрали, что у нее вытащили сумку, в которой были деньги и все документы. И пусть голосит и бежит в милицию, и свидетели пойдут с нею. Пойдет сам Юхан, который, как будто совсем ее не знает, а только видел, как кто-то вырвал у нее из-под руки сумку. И еще пойдет юханов приятель. А она пусть назовется Лукерьей Сапоговой, потому что такую Лукерью он знал, она померла, а у ней в деревне об этом неизвестно. Ей, значит, выдадут паспорт на это имя, а потом Юхан с ней повенчается в комиссариате, увезет с собой заграницу и там отпустит на свободу.

Не успели они еще привести этот план в исполнение,

как пришла к купчихе сама матушка узнать, не приносили ли ей холста на продажу.

Катюше это показалось чего-то странным.

— Я пришла, — шепнула матушка, — сказать, что ваша сестра здесь с детьми. Вас ищет.

И увидела, наконец, Катюша свою Лялечку.

Катюша, войдя в дом, сказала сестре: «Здравствуйте, я Лукерья».

— Здравствуй, Лукерья, — ответила Маруся. — Посмотри, какая у меня девочка Ляля.

Катюша смотрела и не понимала и не могла поверить, что эта кругленькая девочка, бегающая вперевалку, тепленькая, пахнущая супом и что-то весело болтающая, — та самая крошечная Лялька, которая сонно чмокала губами тогда, в последний вечер.

— Лялька, поцелуй Лукерью, — сказала Маруся. — Пойдем, Лукерья, в садик, поговорим немножко.

Разговор был короткий и очень страшный. Маруся хотела что-то сказать и не могла. Катюша глядела на нее и бледнела. Потом крикнула:

— Скажи прямо — он умер.

Маруся шепнула:

— Хуже.

И, помолчав, прибавила:

— Ушел «к ним».

Катюша тихонько простонала:

— А-а!

Помолчали.

—Значит — совсем? Бросил нас?

— Ну, конечно.

— Гад!

Больше они ничего не сказали друг другу.

* * *

Катюша часто бегала взглянуть на девочку.

Как-то раз укладывала она ее спать. И вдруг круглые, упругие щечки раздвинулись, сморщился носик и лукаво-лукаво сощурились глазки. Девочка обняла Катюшу и зашептала ей в ухо:

— Я все знаю. Ты не Лукерья, ты мама.

Молодчина Юхан все проделал, как обещал. И все сошло, как по заказу, даже катюшин визг и вопли на базаре. Потом стала Катюша Лукерья Швенн.

Когда новобрачные стояли уже на палубе парохода, к ним подошла попрощаться знакомая женщина с ребенком на руках. Новобрачная, которая с большим волнением ждала эту женщину, сразу схватила ребенка на руки, а женщина сейчас же спустилась на пристань, громко прокричав:

— Я только куплю тебе яблоков на дорогу.

Ушла да так и не вернулась.

Таким образом новобрачные увезли этого ребенка с собой. Ну, конечно, — не бросать же его в воду.

* * *

— Кэтти Руби? Кэтти уверяет, что живет третью жизнь?

— Говорят, что она выходит замуж за какого-то английского политика.

— Говорят, что ее дочь блестяще сдала экзамен и будет адвокатессой.

— Счастливая эта Кэтти. Такая молодая на вид. Вот что значит — прожить свою жизнь беззаботно.

ТЕТЯ ЗЕТА

Лене было всего пять лет, когда в первый раз увидела она тетю Зету, двоюродную сестру своей матери, эту роковую женщину своей судьбы.

И несмотря на то, что Лене было всего пять лет, эту первую встречу запомнила она на всю жизнь.

Было это утром, в какой-то, должно быть, праздничный день, потому что на ней было надето новое растопыристое платье, юбочку которого она приминала руками и все изворачивалась, чтобы посмотреть, как оно топырится сзади. Оно шуршало, трещало, верно, было накрахмаленное.

Платье это так заполнило всю ленину душу, что она, незаметно для себя, забежала в гостиную, куда без зова ей приходить не полагалось. И вышло это совсем неудачно. В гостиной сидела незнакомая дама, очень высокая, плоская, в сером платье, застегнутом мелкими пуговками до самого горла. Дама удивленно подняла тонкие брови и, вытянув шею, медленно повернула голову, как потревоженный гусь.

— Почему ты так сюда являешься? — спросила она. — Разве тебе позволяют без спросу входить в гостиную?

Лена выпятила лоб и молчала. Она понимала, что лучше всего было бы повернуться и удрать. Но удрать она не могла. Вообще, не могла шевельнуться.

Теперь, когда судьба ее известна, нам вполне по-

нятно, почему она не могла шевельнуться. Здесь, в это самое мгновение, сцеплялись звенья всей ее жизни. Вот от этой точки и дальше, до самой смерти, звено за звеном, кольцо за кольцом, крепко, цепко, ни сбросить, ни разорвать, сбито, спаяно, скреплено. И стояла маленькая девочка Лена, не зная, не понимая, но странной силой заколдованная, стояла, не шевелясь.

— Уж если вошла, — продолжала сердитая дама, — так, по крайней мере, поздоровайся. Или тебя не научили, что с гостями надо здороваться? Чего же ты молчишь?

А Лена стояла, и не шевелилась, и смотрела на даму с тоской и отчаянием.

— Ты не умеешь здороваться? — продолжала дама. — Тогда изволь уйти вон из комнаты.

Лена сама радешенька была бы уйти, но чем больше говорила дама и чем дольше она сама стояла, тем невозможнее было сдвинуться с места.

Но тут вошла ленина мама.

— Катиш, — обернулась к ней гостья, — как ты странно ее воспитываешь. Она влетела сюда, стоит и молчит. Какой нелепый ребенок. И какой у нее ужасный рот! Рот ее отца, который — ты сама должна это признать — никогда красотой не отличался. Она не умеет делать реверанса.

Мать покраснела и сказала Лене сердито:

— Сейчас же поздоровайся с тетей Зетой или уходи вон.

Но Лена не двигалась.

Тогда вышло нечто позорное.

Вызвали няньку, и та насильно потащила Лену из комнаты, и Лена упиралась, и цеплялась ногами за ножки стульев, и стулья ехали за ней с грохотом и треском. А в детской Лена повалилась на пол и орала

«а-а-а», страшная, синяя, с выпученными глазами, так что даже нянька не решилась ее отшлепать.

Теперь, когда мы знаем ее судьбу, мы находим, что эти вопли более всего и подходили к моменту. Именно так, понимая все значение встречи с тетей Зетой, она и должна была бы вопить.

* * *

Тетя Зета поселилась у них в доме. Гостила, что ли. Лена тогда этого еще не понимала.

Когда Лена выросла, она узнала, что тетя Зета была в то время молодой, очень красивой и тонной дамой. За ней многие ухаживали, но без успеха. Она была вдовой крупного чиновника, но денег у нее не было, и она воспользовалась гостеприимством лениной матери. Холодная, спокойная и злая, она заводила свои порядки, и все почему-то ее слушались и как будто даже боялись.

— Не болтай ногами, — говорили Лене. — Тетя рассердится. Не шуми, не стучи, не прыгай, делай реверансы, не соси палец, не пой, не ной, не трепли волосы, не клади локти на стол, не смейся — тетя рассердится. Смотри, как тетя прямо держится, как медленно говорит. Одевайся, как тетя, ешь, как тетя, ходи, как тетя. Если бы тетя видела, как ты сейчас безобразно сидишь!

Через сколько-то времени тетя Зета от них уехала, но призрак ее бродил по дому, мешал смеяться, вертелся, мешал громко говорить. Изредка тетя Зета появлялась, и каждый раз, видя ее, Лена застывала в тоске и ужасе и не могла ни поздороваться, ни уйти.

Тетя Зета посоветовала отдать Лену в институт. Лена, болезненно любившая свою мать, ни за что не хотела с ней расстаться и пришла в такое отчаяние, что захворала. Ее, все-таки, в институт отвезли, и там

понемногу она отвыкла от матери, потеряла самую лучшую, милую радость — эту свою любовь.

Мать ее скоро умерла. Лена осталась одна на свете.

Как-то, в приемный институтский день, ей сказали, что ее пришла навестить тетка. Она так испугалась, что вся побледнела и затряслась. Потом кинулась приглаживать волосы мокрой щеткой. Она металась и не знала, как сладить со своим волнением. Закрыла глаза, перекрестилась и вошла в приемную. Но там сидела вовсе не тетя Зета, а какая-то незнакомая дама. Дама оказалась родной сестрой матери, недавно приехавшей из провинции.

— А я думала, что это тетя Зета, — задыхаясь пробормотала Лена.

У нее билось сердце и звенело в ушах, точно она бегом влетела на пятый этаж.

— Я видела Зету, — сказала новая тетка. — Она почему-то говорила, что ты очень плохо воспитана и не знаешь английского языка.

Лена испугалась. Она действительно не знала английского языка. Но тут же поклялась себе, что английский язык изучит. Стала брать уроки.

Выйдя из института, поступила на службу.

— Тетя Зета, наверное, презирает меня, что я конторщица, — мучилась она.

По вечерам терзалась английскими переводами, которые ей не удавались. Одна из сослуживиц, хорошенькая, бойкая барышня, позвала ее на студенческую вечеринку. Лена густо покраснела и отказалась.

— Воображаю, что подумала бы тетя Зета о такой танцульке. Плясать с какими-то оболтусами.

Ей жилось очень скучно.

Она носила унылые серенькие платьица, застегнутые до горла на мелкие пуговки, причесывалась гладко,

на пробор, что очень шло когда-то блестящим, темным волосам тети Зеты и абсолютно не годилось для светлой, пушистой головы Лены. Она держалась прямо, говорила медленно, с иронией, совершенно ей не удававшейся. Все, что было красиво у высокой, гордой тети Зеты, у маленькой, пухленькой Лены выходило очень комично.

Ее находили напыщенной и скучной.

Ей ужасно хотелось как-нибудь выдвинуться, прославиться, выйти замуж за богатого или знаменитого человека. И тогда можно будет спокойно встретиться с тетей Зетой.

Ей было уже тридцать лет, когда в нее неожиданно влюбился дантист, у которого она лечила зубы. Может быть, оттого, что перед сверлильной машиной ей некогда было разыгрывать из себя тетю Зету, и она была естественна и очень мила.

Дантист ей нравился. Он был маленький, худенький, очень добрый, веселый и ласковый. Она даже согласилась пойти с ним в синема, но весь вечер мучилась. Ей всюду мерещилась тетя Зета.

— С кем это я видела тебя в синема? — спросит она. — Такой маленький еврейчик. Как его фамилия?

Его фамилия была Зуськин...

Конечно, можно было бы сказать, что он из караимов — это, кажется, в зетиных кругах считается аристократичнее. Но все равно, под взглядом тети Зеты, и от караима остался бы один пепел.

Лене было с ним хорошо и весело, и одинокая душа ее оттаивала, но она не посмела полюбить его. Ушла. Кинулась снова к английскому языку.

Потом явился Генри Корт, писатель, артист-любитель, красавец и почти граф, так как, по его словам, его предки при Петре Великом отказались от графского титула.

— Из гордости. Имя Корт стоило двадцати титулов.

Этот человек и был как раз тот, опираясь на руку которого, она смело могла бы предстать перед тетей Зетой.

Что этот писатель писал — она за полгода чрезвычайно близкого с ним знакомства так и не узнала. Вообще, ничего не узнала, кроме того, что он женат, развестись не может и не желает волновать жену своими романами, когда эти романы принимают «фатальную форму».

Лена не любила этого «почти графа», но горько оплакивала разбитую мечту. Хотела сохранить ребенка, но и этого не посмела. Все представлялось ей, что идет она по улице и встречает тетю Зету. Это был такой ужас, что она и во сне видела эту встречу и плакала с криком. Ребенка оставить было невозможно.

Кинулась снова к английскому, единственному ее прибежищу после всех катастроф.

Но и здесь уже чувствовалась безнадежность. Все равно, ничего не выйдет. Тети Зеты из нее не выйдет.

Почему она, эта тетя Зета, могла пройти тяжелую дорогу жизни так просто и гордо. А Лена все сбивалась с прямой линии, все мучилась, и ничто ей не удавалось. Как мог, например, понравиться ей такой ничтожный, маленький дантист? А по нем душа плакала, и он снился ей. Но иногда тут же появлялось и грозное видение тети Зеты. Тогда дантист скромно исчезал. Он даже сниться не смел в таком обществе.

Жизнь становилась все скучнее и тусклее. На английском языке был окончательно поставлен крест.

И вот как-то, в автобусе, окликнули ее.

— Елена Петровна — вы!

Перед ней стоял Зуськин. Он постарел, пополнел. Десять лет прошло с тех пор, как они расстались.

Он сел на пустое место рядом.

— Ну, как вы живете? — спросил он.

— А вы? — вместо ответа, спросила она.

— Ничего, слава Богу. Дела идут отлично. Имею парочку деток. Молодое растет, старое стареет еще больше. Вот сегодня узнал о смерти своей старой пациентки. Замечательная была женщина — прямо чорт. Влюбилась, извините за выражение, прямо в меня. Ей Богу. Лет шесть тому назад. Положим, я уже хорошо зарабатывал... Лет шесть тому назад. Она-таки была старше меня лет на двадцать. Но на вид еще ничего себе. У нее долго был такой, некто Вурст — я ему мост ставил. Богатый человек. Ну, он с ней расстался. Хорошо — а я тут при чем? Мало того, что два года не платила мне ни гроша, так еще позволила себе влюбиться в меня. И вдобавок, самым законным образом, для брака. И такая важная дама. Вдова какого-то бывшего шишки, чуть-что не княгиня. Теперь померла. Валушева. Не слыхали?

— Тетя Зета! — закричала Лена, и губы у нее посинели.

— Какая Зета? — удивился дантист. — Лизавета Ивановна Валушева.

— Тетя Зета! — повторяла Лена, как полоумная. — Тетя Зета! Так вот ты что! Так за что же я! Я-то за что же... Тетя Зета!

Дантист испуганно хлопал глазами.

— Ну, пусть будет Зета, — успокаивал он дрожавшую мелкой дробью Лену. — Пусть Зета. Разве я спорю? Ну? Вы уже меня убедили, хотя я ничего не понял, но — пусть, пусть... И почему такое отчаяние? Ну, умерла старуха — чего тут оригинального? Все умрем.

ЛЕТОМ

Памяти Антоши Чехонте

Русский человек любит критиковать и мрачно философствовать.

Иностранец, тот, ежели не в духе, придерется к жене, выразит неудовольствие современными модами, ругнет порядки и, в крайнем случае, если очень уж печень разыграется, — осудит правительство, и то не очень пространно, а вскользь, не забирая глубоко, между двумя аперитивами и вполне в пределах благоразумия.

Русский человек не то. Русский человек даже в самом обычном своем настроении, если выдалась ему минутка свободная, особенно после принятия пищи, да подвернулась пара незаткнутых ушей — он и пошел. И сюжеты выбирает самые неуютные: загробную жизнь, мировое благо, вырождение человечества. А то метнет его в буддизм, о котором ни он сам, ни слушатель ничего не знают, и начнет наворачивать. И все мрачно, и все он не одобряет и ни во что не верит. Послушаешь — за все мироздание совестно станет, так все неладно скроено.

И все это, так я думаю, происходит от того, что очень любят русские люди не любить. Очень им блаженно и сладко не любить. Иной и добрый человек и мягкий, а скучно ему в его доброте и мягкости, и только и есть ему радости, когда можно не взлюбить

кого-нибудь, — тут он расцветет, расправится и отойдет от нудности жития.

* * *

Это — вилла, в окрестностях Парижа, занятая русским пансиончиком.

Конечно, — вилла, но была она «виллой в окрестностях Парижа» только до прошлого года, пока не оборудовала ее под пансион мадам Яроменко. С тех пор она стала не виллой, а дачей в окрестностях Тамбова. Потому что в каком жардене какой виллы услышите вы звонкие слова:

— Манька, где крынка? А-а? Под кадушкой?

Или приглушенный, осуждающий басок:

— Каждый день котлеты, это уж чересчур. Ну, сделай, для разнообразия, хоть сырники, что ли, За двадцать два франка можно требовать более внимания к столу.

* * *

После завтрака, на маленькой терраске душно. Из кухонного окна доносится последнее замирание теплого лукового духа.

Гулять по дороге — жарко. Идти в лесок — лень. Сидеть на душной террасе — значит, сознательно располагать себя к мрачной философии и пересмотру мировых задач. Но — что поделаешь.

Саблуков сидит под кадкой с лавром. Напротив него, под другой кадкой с другим лавром, сидит Петрусов. Оба долго слушают, как за закрытой ставней второго этажа ревет переписчицын ребенок.

— Счастливая пора! — говорит Петрусов и вздыхает.

— Это какая же? — иронически спрашивает Саблуков.

— Детство, миленький мой, детство. Неповторимое и невозвратное.

Саблуков фыркнул.

— Это детство-то счастливое? Очевидно, вас володькин рев навел на эти сладкие мысли. Такой счастливец два часа ревет, точно с него шкуру дерут.

— Ну, знаете, горе этого возраста. Спать его укладывают, вот он и плачет.

— Да не все ли равно, от чего именно человек в отчаяние пришел. Кинулся бы на вас какой-нибудь верзила и насильно бы завалил, очень бы вы обрадовались? Нет, милый мой, скажу я вам — самая окаянная полоса жизни, это хваленое детство. Подзатыльники, тычки, щелчки, этого нельзя, того нельзя, ешь всякую дрянь, что получше — то вредно, говорить не смей, ногами не болтай, не кричи, не стучи. Каторга! И как они только все вниз головой да в воду не прыгают, удивляться надо.

— А ласка, а любовь, которыми они окружены? Ведь это потом всю жизнь вспоминаешь, — вставил Петрусов и снова вздохнул.

— Это что его по лицу грязными лапами треплют, да маслят поцелуями, кто ни попало? Вас бы так помяли, были бы вы довольны? Какая-нибудь старая бабка на вас бы беззубым ртом «тпрунюшка-тютюнюшка». Брр... жуть берет. А подрастут — учиться изволь. И какой только белиберды в них не заколачивают.

«Чу, попалась птичка, стой!
Не уйдешь из сети».

Ну, какому, скажите честно, положа руку на сердце, — какому нормальному человеку пригодится в жизни такая «птичка стой?» Ну, кому это нужно? А то еще какой-то господин изложил стихами, как птенцы вы-

лупились и улетели — и чего их все так на птиц тянет? — Помните, наверное, и вы зубрили:

«И целый-то день щебетуньи,
Как дети, вели разговор,
«Далеко, далеко, далеко!

Чорт знает, что такое! Прямо срам! И кончается форменной ерундой.

«Далеко, далеко, далеко!
О, если бы крылья и мне...»

Почему вдруг крылья нормальному человеку? Нормальный человек, если хочет куда-нибудь съездить, покупает билет законным порядком. А тут — все время ничего не делает, у окошка торчит, «щепетуньи-лепетуньи», а как платить за билет — подавай ему крылья. Распущенность и бесстыдство!

— Ну, знаете, так тоже нельзя, — остановил его Петрусов. — Вы так совсем поэзию отрицаете. Стихи вещь хорошая, особенно для молодежи. И в поэзии всегда поэт этак как-нибудь мечтает. Понимаете?

«Дайте мне чертог высокий
И кругом зеленый сад».

— Как не помнить, ха-ха! — мрачно засмеялся Саблуков.

«Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград».

Отлично помню. Чтобы виноград зрел в тени. Ловко выдумал? Почему не как у людей, не на солнце? Нет, раз он поэт, так подавай ему все особенное. Ну, остальное понятно: и девицу, и собственных лошадей, и мраморные залы — кто от этого откажется? Но заключение, самый финал, очень странный. Поэт выражает желание проскакать разок по полю и что ему

не надо счастья. Позвольте: дом есть — раз. Поле есть — два. Сад есть, с виноградником, но в тени — три. Девица с лошадью — четыре. Чего же ему еще? От какого же он счастья отказывается? Ничего не понять, а ребенок зубри. А не знаешь, как этот франт хотел скакать, — не получишь аттестата зрелости.

Саблуков сердито помолчал и заговорил снова:

— И ведь не только отечественные стихи зубрили, нам и иностранные вдалбливали. Помните «Лесного Царя»? Какая возмутительная штука! Я еще мальчишкой был, думал — что-то, мол, тут какое-то неладное! Подумайте сами: едет папаша на коне и везет сына под хладною мглой. Ладно. Под мглой, так под мглой — его дело. И вот за ними мчится старый чорт — лесной царь. Бородища по ветру, брови седые. Пусть. И что же он, этот самый старый леший, говорит? Что он делает? Прельщает мальчишку.

«Дитя, я пленился твоей красотой, —
Неволей иль волей, а будешь ты мой».

Ну, скажите откровенно, положа руку на сердце, — это нормально? Это прилично? Ну, я понимаю, там в сказках Мороз Красный Нос влюбился в девицу-красавицу, так ведь не в мальчишку же! А этот бородатый дядя, изволите ли видеть, «неволей или волей, а будешь ты мой». А дети должны это учить наизусть. И глупо же до чего, послушайте только:

«Родимый, лесной царь со мной говорит,
Он золото, перлы и радость сулит».

Это мальчишке перлы! Ну, на что мальчишке перлы! Ну, положа руку на сердце — ведь глупо? Мальчишке сулить надо коньки, велосипед, булку с колбасой. Вот что мальчишке сулить надо. А то вдруг «перлы»! Выдумают тоже.

— Это перевод — сказал Петрусов. — В подлиннике, кажется, не так. В подлиннике, что-то насчет его муттер, что у нее золотое платье.

— Еще того пуще! Ну, какое дело мальчишке, какие у старой ведьмы туалеты? Сам-то лесной царь дядя немолоденький, а мамаше, наверное, лет под сто. Тьфу! По-э-ти-ческая фантазия! Ты мне красоту покажи, а не то что! Сулит мальчишке старую лешачиху. А папенька скачет и ничего не слышит.

— Это намек, что родители всегда обо всем узнают последние и не знают, что у них за спиной делается.

Саблуков нахмурил брови и понизил голос.

— Нет, миленький мой, здесь похуже. Здесь хотели дискредитировать идею. Какую? Идею царя. Вот, мол, какими делами цари занимаются. Живут в перлах и безобразничают. Большевизм, дорогой мой. Большевистская пропаганда. А вся эта «хладная мгла», которая мчится! Это все соус, чтобы не сразу в глаза бросалось. Большевизм, друг мой!

— Эка куда хватили! — недоверчиво сказал Петрусов.

— Да, да, да! Нечего «эка». Тут уж не «эка». И все у нас так. Помню, актрисы на концертах декламировали:

«И день и ночь ее воспоминанье гложет,
Как злой палач, как милый властелин».

— Я еще тогда обратил внимание. «Позвольте, — говорю распорядителям, — какой же это милый властелин, который гложет»? Это, говорят, у Апухтина, а мы не при чем. Не при чем! Не надо допускать. А вы тоже скажете «эка»!? Вот и погубили Россию. И радуйтесь.

— Ну, это вы знаете, уж...

— Ничего не знаю и знать не хочу, — оборвал

Саблуков. — И вообще на эти темы с вами говорить не желаю. У меня еще есть идеалы в душе.

Саблуков встал.

Гулять по дороге жарко. Идти в лесок лень.

Он снова опустился на место. Посопел и сказал мрачно:

— А не думаете ли вы, положа руку на сердце, что вся Европа летит к чорту?

— Началось! — подумал Петрусов.

Но гулять по дороге было жарко, а идти в лесок было лень, поэтому он вздохнул и ответил кротко:

— Разве?

И закрыл глаза.

СЕМЕЙНАЯ ПОЕЗДКА

Долго спорили, когда лучше выехать — с утренним поездом или с вечерним.

Бабушка считала, что с утренним.

— По крайней мере, хоть в окошко смотреть можно.

Клавдия стояла за вечерний.

— Заснешь, и не так долго время тянется.

Строкотов своего мнения не имел. Хотя, может быть, и имел, но никогда не высказывал, потому что никто его мнения не спрашивал. Так что ограничивался он тем, что тихонько поддакивал то бабушке, то Клавдии.

Готовились к путешествию долго. Бабушка распустила вязаную кофту и связала для Петуши свитерок. Потом распустила шерстяные чулки и связала Петуше трусики. Потом распустила теплые перчатки и связала ему носочки.

— По крайней мере, ребенок одет, как куколка.

Петуша, веснущатый и гунявый отпрыск семейства Строкотовых, был похож на своего запуганного, безнадежного отца, но похож только внешне. Нравом же в корне отличался. Насколько отец был скромен и старался стушеваться, настолько Петуша выпирал на поверхность. Он был зол, капризен, ничем не доволен. От отца унаследовал только веснушки, рыжесть и вечный насморк — зимой обыкновенный, простудный, — летом сугубый, сенной.

Мать семейства, Клавдия, некрасивая, тощая, на коротких толстых ногах, в качестве страдалицы и жертвы, пилила мужа с утра до вечера. Старуха, для водворения спокойствия, заступалась за зятя умиротворяющими словами:

— Ну, чего ты от дурака хочешь?

Клавдия, мечтавшая в юности танцовать в балете, считала, что погубила себя, выйдя за Строкотова. Чтобы хоть чем-нибудь скрасить свою жертвенную жизнь, велела называть себя «Кэт». Произносилось это имя в их семье не через оборотное «э», а мягко, по-русски, «Кет».

Природа, породившая всю эту семейку, выражаясь языком современности, имела определенное задание. Муж предназначался на роли барана, Кет — швейки, старой девки, старуха — мирной сплетницы и кофейницы. Судьба же, как бездарный режиссер, всем подсунула роли не по амплуа, подняла занавес, сыграла ритурнель и пустила машину в ход.

Строкотов выбивался из сил, исполняя злодея-губителя; Кет явно проваливала роль укротительницы змей, а старуха выступала каким-то королем Лиром, но без Корделии.

«Дуй, ветер, дуй,
Пока не лопнут щеки!»

И вот tout ce joli monde двинулись на дачу.

Дача была нанята с воплем отчаяния, с задатком, рассрочками, Кет рыдала и ругала Строкотова, загубившего ее жизнь целиком и губившего ее еще по мелочам. Строкотов лез в плакар вешаться и смял тещино манто. Теща урезонивала Кет.

— Не терзай дурака, ответишь, если что, перед полицией.

Потом напекли пирожков и поехали.

* * *

День выдался на редкость жаркий.

Строкотов, волочивший багажную корзину и вагонные чемоданы, изнемог до того, что даже (невиданно, неслыханно) стал огрызаться. Это выходило у него так нелепо и даже жутко, как если бы морская свинка под ножем вивисектора вдруг повернула морду и сказала с негодованием:

— Чего же это ты, сволочь, мне брюхо пропорол?

Железнодорожники любят в жаркую погоду прокалить, как следует, состав поезда на солнце, чтобы к моменту отъезда от вагона несло каленым утюгом.

Петуша в окно смотреть не пожелал, а сразу же принялся за пирожки. Старуха уныло вспоминала, какие вещи забыли и что именно пожрет моль.

Несчастному Строкотову мгновенно влетел уголек в глаз. Ему всегда влетал уголек в глаз, и все немногочисленные выезды из Парижа были отмечены этим несчастьем. Он моргал, выворачивал себе веко, тер глаз кулаком к носу, тер платком, против носа, — ничего не помогало.

Кет злилась и шипела:

— Почему с другими этого не бывает? Колумб всю Америку открыл, и ничего ему в глаз не влетело. Васко де Гама, да и мало ли их было, и никто, никогда, ничего! А наш осел прямо ловит всякую дрянь глазами.

— Оставь, Кет, — урезонивала старуха. — Ну, чего ты от него хочешь? Точно, не понимаешь, что это за человек. Береги свои нервы.

От возни с глазом Строкотову стало еще жарче.

— Умираю, пить, — стонал он. — Отчего мы не захватили воды?

— Не захватили оттого, что ты ни о чем не поду-

маешь, —отвечала жена и продолжала развивать свою мысль долго, уныло и злобно.

— Разве ты способен о чем-нибудь подумать? Абсолютно не способен. Никогда ни о чем. Не было еще случая, чтобы ты о чем-нибудь подумал.

— Спроси у него, целы ли деньги, — сказала старуха дочери, не желая, в силу необычайного презрения, обращаться прямо к зятю.

— Целы, маман, целы, — успокоил ее Строкотов. — Сто франков в бумажнике. Но я, все равно, умираю, а воды нет.

В вагоне становилось все жарче. Видя страдания мужа, Кет вдруг прониклась жалостью, но, по странной своей душевной организации, не к Строкотову, а к собственной матери.

— Мамочка, ты вся вспотела, тебя легко может продуть. Виктор, потрудись закрыть окно. Мамочка простудится. Тебе, наверное, безразлично, если женщина, которая стольким тебе пожертвовала, схватит воспаление легких. А мне не все равно. Закрой окно!

Старуха, собиравшаяся, было, протестовать против закрытого окна, потому что ей самой было нестерпимо жарко, увидела, как зятю мучительно не хочется послушаться, и мгновенно решила принести себя в жертву, лишь бы ему было тошно.

— Спасибо, Кет, что бережешь свою мамочку.

Дрожащими руками Строкотов захлопнул окно, со стоном опустился на свое место и закрыл глаза. И видно было, как у него на шее надулись жилы.

Старуха пытливо скосила на него глаз.

— Выдержит или не выдержит?

Решила, что выдержит.

«Дуй, ветер, дуй,
Пока не лопнут щеки!»

Поезд замедлил ход.

Страдалец открыл глаза.

— Я выйду и куплю бутылку Виши, — сказал он, ни на кого не глядя.

И было в его тоне что-то такое, что ни мать, ни дочь не нашли сразу подходящей реплики. Поезд остановился, и Строкотов, стараясь не глядеть на своих дам, чтобы они его не остановили, бросился на платформу. Но так как ему никогда ни в чем не везло, то шаретка с сэндвичами и питьем оказалась в другом конце поезда. Он делал отчаянные жесты, призывая ее к себе, но она обслуживала других пассажиров, и пришлось самому бежать к ней.

Виши нашлось.

— Комбьен?

— Труа фран.

Он порылся во всех карманах. Но мелочи у него никогда не было, и порылся он просто так, на авось. Пришлось лезть в бумажник и доставать заветную стофранковку.

Парень, толкавший шаретку, взял бумажку, долго ее расглаживал, справился еще раз у Строкотова, нет ли у него трех франков, раскрыл какую-то коробочку, пошевелил в ней пальцем, подал подошедшему покупателю сэндвич, дал ему сдачи и снова стал шарить, держа все время в руке проклятую стофранковку. Дрожащий от нетерпения Строкотов взглянул с ненавистью на этого втершегося покупателя и увидел, как тот вдруг припустил ходу и рысью помчался к поезду. Строкотов оглянулся. Поезд двигался.

Сердце ударило. В глазах потемнело, Прижав к груди холодную пузатую бутылку, Строкотов кинулся к поезду, уцепился и вскочил в последний вагон.

— Сдачу получил? — дружно, в голос, закричали дамы, наблюдавшие в окно за всей этой сценой.

— Где там, — уныло ответил он и наивно, желая переменить разговор, деловито спросил:

— Пробочник не забыли?

У дам от бешенства так перехватило горло, что они даже задохнулись. Говорить не могли.

— Где? — вдруг очнулась Кет. — Где сто франков? Господи! Да что же это за мука! Ни один беглый каторжник не позволит себе такого хамства.

Она так дико кричала, что даже ко всему привычный Петуша, с любопытством наблюдавший занятную сценку, вдруг испугался и заревел.

Старуха, хотевшая, было, тоже вставить свое слово, долго ждала паузы, но, не дождавшись, обиделась на дочь.

— Нельзя так кричать! Французы слушают. Нехорошо.

— Наплевать мне на ваших французов, — огрызнулась дочь. — Этот кретин оставил нас без гроша денег, а вам все равно. Вам лишь бы перед французами фигурять. Напрасно стараетесь! Все равно, кроме «саль этранжэ», ничего от них не дождетесь.

Услышав неприятные и вполне понятные французские слова, сидевший у другого окна француз принял их на свой счет, раздул ноздри, задышал, засопел и, видимо, стал мысленно составлять какую-то фразу.

— Перестань, Кет, — строго остановила старуха. — Лезет на скандал.

Но Кет не слушала и не слышала.

— Виши захотелось. Отчего же? Разве нам денег жалко? Сто франков, так сто франков. А жена — пусть голая ходит, лишь бы ему Виши было.

И вдруг Строкотов вскочил, страшный, черный, волосы дыбом.

— К чорту! — заорал он. — Все к чорту! Не хочу-у-у!

И взмахнув над головой, как индеец тамагавком, пузатой бутылкой, он швырнул ее в окно.

— Держите меня! — захрипела Кет. — Держите меня! Теперь я, наверное, его убью.

— Молчи! — истерически крикнула старуха и вдруг, ко всеобщему удивлению, задрала ногу и стала сдирать с нее башмак. Содрала, сунула руку в чулок и, дощупавшись до следа, вытянула из-под пятки сложенную газетную бумажку. Все молча, замерев, смотрели на нее со страхом и удивлением, как глядят на фокусника, достающего из пустой шляпы живую курицу.

Старуха развернула бумажку и вынула крепко спрессованную стофранковку.

— На! Подавись, — спокойно сказала она, протягивая деньги дочери.

Та взяла, аккуратно спрятала их в свою руку, поджала губы.

— А теперь потрудись объяснить, откуда у тебя эти деньги, — сказала она.

Старуха молчала.

— Накопила? Из хозяйственных? И это мать! И это та, которая должна быть примером самоотвер... Что такое?

Поезд остановился.

— Приехали, — крикнул Строкотов, — вылезайте скорее! Остановка всего три минуты. Живо! Кет! Твоя картонка! Маман. Не забудьте сверточек.

— Как скоро доехали! — оживилась старуха.

— Удивительно! — подхватила Кет. — Я даже не заметила. Петуша, дай мамочке ручку. Виктор, тащи же корзину. Вечно что-нибудь прозевает. В общем, чудесно доехали.

НАУЧНОЕ

Она приходила часто и сидела подолгу, и было это далеко не весело.

Входила всегда со словами:

— Простите, дорогие, что долго не была. Все некогда. К тому зайди, к другому зайди, а концы в Париже большие, никак ко всем не поспеть.

— Голубчик, Марина Петровна, — не без хитрости успокаивает ее Вертунова. — Голубчик, да разве мы с вами визитами считаемся? Конечно, видеть вас большая радость, но я ни за что не хочу, чтобы вы создавали себе обязанность нас навещать.

Уж, кажется, ясно.

Но Марина Петровна не из тех, которые ловят намеки на лету.

Она усаживалась поудобнее и вынимала из бумажного мешка работу.

После этого хозяйская дочь вдруг вспоминала, что должна бежать куда-то очень далеко, по какому-то неотложному делу. Хозяйский сын решал, что пора, наконец, серьезно приналечь на науки, и запирался в своей комнате. Бедная Вертунова одна, беззащитная, с остервенением принималась за хозяйственные дела: мыла посуду, пересчитывала в шкафах белье, кипятила, варила, чистила, изредка подавая через коридор реплики, не всегда впопад.

— Чудесная погода. Но как будто стало хмуриться, — тянула Марина Петровна.

— Кому? — ревела из кухни Вертунова.

— Видела я сегодня в трамвае барышню. Удивительно живое выражение лица.

— Сколько? — ревела Вертунова.

Если же случался в доме гость, и Вертуновым неудобно было удрать, Марина Петровна усаживалась у двери и завладевала положением. Как опытный передовой олень, прокладывала она тропу собеседования, остальные, как испуганное стадо, прыгали за ней, не поспевая и обрываясь.

Вид у Марины Петровны всегда очень значительный. Жиденькие седые волосы, аккуратно загофрированные, оставляли просветы хорошо промытой, блестящей кожи. Косенькие глазки смотрят строго, зубы во рту пощелкивают. Шея коротенькая и подперта воротничком с брошечкой; брошечка, сама по себе, достойна внимания: кругленькая, золотая, вся в каких-то загоговочках и закорючках. Зачем ее, такую, придумали и зачем пустили по белу свету, дав ей совсем не подходящее для нее значение — украшать! Много есть странного в земном нашем существовании.

Грудь у Марины Петровны куриная, ножки такие коротенькие, что, садясь на стул, ей приходилось подпрыгивать.

И вот, при наличности всего вышеописанного, чувствует она себя всегда и везде вожаком идей и передовым оленем.

Разговаривая, она тыкает крючком свое вязанье, точно подчеркивает этим движением свои слова, ввязывает их в бурую тягучую полосу.

— Жизнь в Париже требует ужасного напряжения,

— говорила она. — Всюду спеши, всюду поспей. Вот смотрите, вот, например, вчера — у меня вырезка из газеты — половина девятого — объединение поэтов, неловко же не пойти. В восемь «Сравнительная физиология рас», — ладно. А в девять лекция «О местном самоуправлении». Пойду туда, — значит, пропущу, тоже в девять, другую лекцию — «Военный потенциал». А Зурикины звали в восемь чай пить. Ну, вот и делай, как знаешь. Решила хватить немножко потенциалу, да и махнуть к Зурикиным.

— А что же это за потенциал? — состроив любопытствующую рожу, спросил сын Вертуновой.

— Как вам сказать... Это в двух словах не расскажешь. Тем более, что я до конца остаться не смогла. Но во всяком случае, кое-что для себя вынесла. Да, не без пользы.

Но в последнее время Марина Пётровна перестала разбрасываться и сосредоточилась. Ее потрясли новые открытия в области физиологии, зоологии, медицины и хирургии. Всякая метафизика потеряла для нее интерес.

— Конечно, иоги, — объявила она, — это, как говорится, имеет за собою долю подкладки, и я не мало побегала на разные этакие лекции. Очень даже в свое время увлекалась. Бывало, по целым часам упражнялась — носом воздух втягиваю, а через рот выпускаю. Прямо до сердцебиения. Очень полезно. А потом еще так — ложилась и дышала. И как дыхну, так носками шевельну. Все — как указано. Рис, конечно, ела. Но особых результатов не получила. Был тут еще один учитель, в замечательных пикейных штанах. Встанет на эстраду и прыгает. И мы за ним. Было нас там шестнадцать старух и две девочки. «Прыгнем, кричит, до самого солнца». И — «прощайте своих врагов и

ешьте творог». Ну, там одна старуха так растряслась, что пришлось ей печенку оперировать. Я и ушла. Но очень был интересный этот господин. То-есть, тогда казался интересным. А теперь меня влечет к себе только научное. Боже мой, какие открытия! Ну, взять, например, муравья. Ну, чего только у них нет! И дети, и гувернантки, и скотоводство, и ванна, и презрение к бедным, и война, и беспроволочный телеграф. Да, да, опыты делаем. Унесут муравья куда-нибудь подальше и сделают ему какую-нибудь неприятность. А другие ученые наблюдают за муравейником. И что бы вы думали? Моментально в муравейнике начинается беспокойство. А как они могли узнать? По беспроволочному телеграфу. Вот у кого учиться-то надо.

Тут следовала длинная пауза, унизительная для слушателей.

— А какие чудеса в медицине! — начинала снова Марина Петровна. — Приехал в Париж профессор, а у профессора палочка. Сунет профессор палочку больному в нос, пощекочет, и кончено. И все у больного пропало. Ну, буквально все, как есть.

— То-есть, что же такое пропадает? — спрашивает недоверчивый слушатель. — Что пропадает? Деньги, что ли?

Марина Петровна казнила его молчанием.

— А теперь вот взять опять малокровие, — продолжала она. — Ведь как его раньше лечили — железо да железо. А на кой прах больному человеку это самое железо? Разве кто этим вопросом мучился? А теперь не то. Теперь возьмут лошадь и утомят ее до полной анемии. Ну, ей, конечно, умирать не хочется, она и начинает в себе вырабатывать всякие штуки, чтобы противоборствовать. А ученые давай из нее эти штуки вытягивать. Вытянут, в бутылочки засмолят, так это

вам не железо. Тут, если денег не жалеть, можно себе сорок лошадиных сил скопить.

— Как Испано Суиза! — вставляет завистливый слушатель.

— А теперь, говорят, такую штуку придумали, в виду кризиса и всяких неприятностей. Возьмут лошадь и начнут ее огорчать. Ну, у той, конечно, печень разыграется, желчь разольется, оно и понятно. Лошадь ведь тоже человек, от худого обращения ей тоже не сладко, И вот, опять-таки, начнет в ней вырабатываться равнодушие. Чем больше ее огорчают, тем больше у нее равнодушие, и все нипочем. Стоит и улыбается. И вот тогда ученые живо-скоро начинают из нее вытягивать эти самые равнодушные соки и живо-скоро в шприц и пациенту под кожу, в нервную систему. Ну, понимаете сами, раз лошадь выдержала, то человеку уж совсем пустяки. Такому человеку ничего не страшно. Его можно прямо при всех с грязью смешать, и ни одна фибра у него не дрогнет. Сделайте ваше одолжение.

— И откуда вы таких чудес понабрались? — удивляются слушатели.

— Ходите на лекции, следите за наукой, — холодно отвечает Марина Петровна. — Конечно, если будете только сидеть да хлопать ушами, вы многого не вынесете. Надо вникнуть, понять, подумать, усвоить. Вот теперь, например, столько говорят о китайском лечении при помощи уколов. Вы, конечно, ничего не знаете, а между прочим, это средство не новое, и уже много лет все ахают и удивляются. Отчего Китай не вымирает? Оттого, что у них медицина на правильном пути. И ведь такая простая вещь. Если человек болен, надо только знать, куда его уколоть. Удачно попадете, он сразу и выздоровеет. Вот, например, болит у че-

ловека зуб. Его, оказывается, надо немедленно уколоть в левую пятку, и боль как рукой снимает. А почему? А потому, что зубы тесно связаны с пятками и живут, так сказать, общей жизнью. Но кто бы это подумал? А между тем, это так.

— А почему же, если пятку уколоть, то зубу легче станет? — спрашивает бестолковый слушатель. — Почему не наоборот? Почему не хуже?

— Ну, как же вы не понимаете такого пустяка? Вы меня даже удивляете. Впрочем, все это от непривычки научно мыслить. Неужели вам не ясно, что если вы будете причинять болевое ощущение в каком-нибудь месте животного организма, то этим самым облегчаете состояние связанного с ним, так сказать, симпатизирующего ему, органа.

— А по-моему, из симпатии-то он должен еще пуще разболеться.

Марина Петровна презрительно пожимает плечами:

— Полное отсутствие научного метода мышления. И почему вы не стараетесь развиться? Вот мне недавно рассказывали про новое средство для восстановления сил. Такие гранюльки глотать с водой. Знаете, как они добываются? Это, милые мои, целый роман. Берут курицу в тот момент, когда она несет яйцо. Понимаете? В самый напряженный и яркий момент ее жизни. И в этот самый момент, из этого самого цыпленка что-то тянут.

— Из какого цыпленка?

— Ах, Боже мой, да из того, которого она несет.

— Так ведь она не цыпленка, а яйцо.

Марина Петровна удивилась:

— Вы так думаете? Значит, мне не так передали. Постойте. Тянут, очевидно, из петуха. Курица несется, клохчет, петух чувствует инстинктом свою вину в ее

страданиях и свою гордость от подсознательного сознания создания мироздания. Конечно, в небольшом масштабе. Это самый напряженный момент в жизни петуха как такового. Удивительная вещь! Я вам говорю — целый роман.

— Ну, и что же, помогает?

— Нет, абсолютно не помогает. Но это ведь и не важно. Важны новые принципы, новые пути, новые начала. Нельзя ко всему относиться с утилитарным подходом. Стыдно!

И сердито ткнув крючком, она ввязала конец своей фразы в длинную, тягучую, бурую полосу.

Вот вам! Чувствуйте!

ВОЛЯ

«Вольно, мальчик, на воле!
На воле, мальчик, на своей!»
— Новгородская песня.

— Вот и лето настало.

— Вот и весна. Май. Весна.

Ничего здесь не разберешь. Весна? Лето? Жара, духота, потом — дождь, снежок, печки топят. Опять духота, жара.

У нас было не так. У нас — наша северная весна была событие.

Менялось небо, воздух, земля, деревья.

Все тайные силы, тайные соки, накопленные за зиму, рвались наружу.

Ревели животные, рычали звери, воздух шумел крыльями. Высоко, под самыми облаками, треугольником, как взлетевшее над землею сердце, неслись журавли. Река звенела льдинами. Ручьи по оврагам журчали и булькали. Вся земля дрожала в свете, в звоне, в шорохах, шопотах, вскриках.

И ночи не приносили покоя, не закрывали глаз мирной тьмой. День тускнел, розовел, но не уходил.

И мотались люди, бледные, томные, блуждали, прислушивались, словно поэты, ищущие рифму к уже возникшему образу.

Трудно становилось жить обычною жизнью.

Что делать? Влюбляться? Писать стихи о любви и смерти?

Мало. Всего мало. Слишком сильная наша весна. И манит она всеми своими шопотами, шорохами, звоном, светом — на простор, на волю. На вольную волю.

Воля — это совсем не то, что свобода.

Свобода — liberté, законное состояние гражданина, не нарушившего закона, управляющего страной.

«Свобода» переводится на все языки и всеми народами понимается.

«Воля» — непереводима.

При словах «свободный человек» — что вам представляется? Представляется следующее. Идет по улице господин, сдвинул шляпу слегка на затылок, в зубах папироска, руки в карманах. Проходя мимо часовщика, взглянул на часы, кивнул головой — время еще есть — и пошел куда-нибудь в парк, на городской вал. Побродил, выплюнул папироску, посвистел и спустился вниз, в ресторанчик.

При словах «человек на воле» — что представляется?

Безграничный горизонт. Идет некто без пути, без дороги, шагает, под ноги не смотрит. Без шапки. Ветер треплет ему волосы, сдувает на глаза — на глаза, потому что для таких он всегда попутный. Летит мимо птица, широко развела крылья, и он, человек этот, машет ей обеими руками, кричит ей вслед дико, вольно и смеется.

Свобода законна.

Воля ни с чем не считается.

Свобода есть гражданское состояние человека.

Воля — чувство.

* * *

Мы, русские, дети старой России, рождались с этим чувством воли.

Крестьянские дети, дети богатых буржуазных семей и интеллигентной среды, независимо от жизни и воспитания, понимали и чувствовали призыв воли.

На этот голос откликались тысячи бродяг, каких ни в какой другой стране не увидишь. И не потому не увидишь, что, мол, в других странах порядок строже и жизнь обеспеченнее, так что нет ни возможности, ни смысла бросить родное гнездо. У нас к бродягам тоже относились строго, арестовывали, приговаривали к наказанию, водворяли на место жительства. И не всем, покинувшим свой дом, жилось в этом доме плохо. Так что причина лежит не здесь.

В чем же она?

Любовь к путешествиям, что ли?

Купите такому бродяге билет, отправьте его с деньгами и комфортом в чудесное русское место, на Кавказ, в Крым, так он выпрыгнет из вагона где-нибудь в Курске, деньги пропьет и пойдет пешком в Архангельск. Зачем?

— Да там, говорят, деготь дешево продают.

— А на что тебе деготь?

— Да так, к слову пришлось.

Дело не в дегте, а в том, что надо идти. Идти, куда глаза глядят.

Вот она, цель русской души.

Куда глаза глядят.

Как в сказке — пойди туда, не знаю куда.

И ходят-ходят по всей России, по дорогам, по тропочкам, прямо по целине, вдоль, поперек, старые, молодые.

Поймают такого, вернут на родину — он опять

уйдет. Их у нас на севере называли «Спиридоны-Повороты».

Шагает такой Спиридон-Поворот по дороге, на голове самая неожиданная шляпа-ермолка, скуфейка, панама без верха, одна тулья, шапокляк. Все, что угодно, вплоть до бабьей косынки. Ноги босые, в опорках, за спиной котомка или узел, на поясе, сбоку, жестяной чайник.

Идет, словно его наняли, а и сам не знает, куда и зачем.

И какого только народа нет среди них. И беглые монахи, и купеческие сынки, и поповичи.

Помню, жил в Новгородской губернии старый исправник. Было у него, как полагается в сказках, три сына. Дальше уже не совсем, как в сказке, — не «старший умный был детина». Все трое были так себе, самыми обыкновенными мальчишками и учились в кадетском корпусе. Старший, веселый, здоровый малый, кончил училище, был произведен в офицеры, приехал на побывку домой, и все заметили, что он стал задумываться. Задумывался недолго. Как-то утром нашли в его комнате мундир с сапогами, а самого его не нашли. Куда ушел, в чем ушел — ничего неизвестно.

Через несколько месяцев вернулся. Не совсем. Только заглянул, и в таком виде, что лучше бы и не заглядывал, — пьяный, рваный, веселый и даже восторженный.

Отец был в отчаянии. Делал все, что мог. Лишал родительского благословения, проклинал, плакал и деньги предлагал, даже запил — ничто не помогло.

На все убеждения нес в ответ какую-то околесину про то, что птицы на рассвете Богу молятся, и что папоротник понимать надо.

С тем и ушел.

А через два года, точно таким же порядком, ушел и второй сын.

Когда же третьему исполнилось шестнадцать лет, отец не стал ждать, чтобы он начал «задумываться», а кликнул трех городовых и приказал мальчишку выпороть. Средство это — как ни странно — хорошо подействовало на потерпевшего. Он благополучно кончил курс и даже поступил на службу. А может быть, он и не собирался «задумываться», и героическая мера была тут не причем. Впрочем, я его потеряла из виду и не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба.

* * *

До последнего дня были в России странники. Ходили по монастырям, и не всегда вело их религиозное чувство. Все дело было в том, чтобы **идти.** Их «тянет», как тянет весной перелетных птиц. Тяга. Непонятная сила. Мы, русские, не так оторваны от природы, как европейцы, культура лежит на нас легким слоем, и природе пробиться через этот слой проще и легче. Весной, когда голоса проснувшейся земли звучат громче и зовут звонче на волю, — голоса эти уводят. Как дудочка средневекового заклинателя уводила из города мышей.

Я помню, как мой двоюродный брат, пятнадцатилетний кадет, тихий мальчик, послушный и хороший ученик, два раза убегал из корпуса, пробирался далеко в северные леса и, когда его разыскивали и возвращали домой, он сам не мог объяснить своего поступка. И каждый раз это было ранней весной.

— Почему ты ушел? — спрашивали мы.

Он застенчиво улыбался:

— Сам не знаю. Так. Потянуло.

Потом, будучи уже взрослым, он вспоминал об этой

полосе своей жизни с каким-то умиленным удивлением. Он не мог объяснить и сам не понимал, что за сила тянула его и уводила.

Он говорил, что ясно представлял себе отчаяние матери и жалел ее до слез, и представлял себе, какой скандал произвело его бегство в корпусе. Но все это было как в тумане. Та, настоящая жизнь, была, как сон. А эта, «чудесная», стала жизнью реальной. И даже странно было, как мог столько лет — целых пятнадцать! — жить так неестественно, тяжело и скучно.

Но думал он мало, больше чувствовал. Чувствовал волю.

— Бредешь без дороги по глухому лесу. Только сосны да небо — один в целом свете. И вдруг заорешь диким голосом изо всех сил, изойдешь в этом крике такой первобытной радостью, что потом долго только дрожишь и смеешься.

И еще рассказывал:

— Удалось видеть, как медведь наслаждался музыкой. Лежал медведь на спине около большущего дерева, сломанного бурей. Дерево было старое, расщепилось и торчало в разломе лучинами. Вот медведь вытянет передние лапы, дернет за эти лучины, они загудят, затрещат, защелкают, и медведь заурчит, занежится, ему, значит, эта музыка нравится. Опять дернет и наслаждается. Никогда я этой картины не забуду. А ночь северная, белая ночь. На севере она, между прочим, не такая бледная, как, например, в Петербурге. На севере она розовая, потому что там заря никогда не сходит с неба. Вечерняя догорает, и тут же рядом, прежде чем она потухнет, загорается рассветная. От нее в лесу розовый дым, и в этом розовом дыму — представляете себе картину: медведь музицирует, а из кустов на него смотрит мальчишка

и чуть не плачет — а может быть, и плачет — от любви и восторга. Ну, разве это забудешь!

Мальчика этого, между прочим, разыскали с большим трудом, уже на севере Олонецкой губернии. Поймали его совершенно случайно, хотя всюду по полиции были разосланы его приметы. А вышло так: проходил мальчик через деревню и зашел на постоялый двор. Ночь провел в лесу, было холодно, шел дождь, он продрог и захотел поесть горячего. Спросил щеи.

— Каких тебе щей?

Отвечает:

— Мясных.

Хозяин удивился:

— Каких таких мясных? Седни пятница. Что за человек в пятницу скоромятину жрет? Послать за урядником.

Пришел урядник, спросил паспорт. Паспорта, конечно, не оказалось. Мальчишку арестовали, стали допрашивать, он разревелся и признался. Тут и вольной воле конец.

* * *

Теперь часто слышишь:

— Эх, побывать бы в России. Хоть денек. Пойти бы в лес — он ведь тот же остался. Поплутать там, подышать на вольной волюшке.

И я тоже вспоминаю. Всегда весной. Вспоминаю белую ночь. Самое глухое время — часа два. Светло, розовеет небо.

Стою на террасе. Там, внизу, за цветником, река. Слышно, как звякает глухой колокольчик и покрикивает мальчишка-погонщик. Это тянут бичевой баржу-беляну далеко, к Волге.

Усталые, бессонные глаза щурятся от розового света, и томно замирает сердце.

А там, за рекой, кто-то, захлебываясь от восторга, орет во все горло дикую, бестолковую, счастливую песню.

«Жил мальчик на воле,
На воле мальчик, на своей!
И кажну мелку пташку
На лету мальчик стрелял,
И кажну красную девицу
Навстречу мальчик целовал».

И потом припев, истошный, надрывно радостный, с каким-то прямо собачьим визгом, потому что уж слишком из души:

«Вольно, мальчик, на воле,
На воле, мальчик, на своей!»

И я, сама не зная как, поднимаю руки и машу заре и дикой песне, и смеюсь, и кричу:

— Воль-но-о-о-о!

СОБАКИ

Жили они все четверо в загородном домике, красиво и уютно.

Были у них слуги, садик, цветы в комнатах.

За домик, садик, слуг и цветы платила Мэри. Остальные трое ничего не платили, но властвовали. Не платили, потому что денег у них не было и не могло быть. Они, эти трое, были — собаки.

Самый старший — Султан. Неопределенной породы, лиловой масти, морда седая. Любил изображать из себя бешеного пса, который за хозяйское добро удавится. Но темперамента хватало у него минуты на две — не больше. Он плясал на задних лапах, задыхался, хрипел и, вообще, давал понять прохожим, что не будь забора, от них бы рваной жилки не осталось. Но не успеет прохожий и за угол завернуть, как бешеный пес вдруг поворачивался и обиженной трусцой бежал в свою закуту, где и укладывался поудобнее.

— А ну, мол, вас. Покою собаке не дают. Лайте сами, коли это уж так необходимо. Подумаешь, тоже!

Это пес старый. Новомодным выдумкам не обучен. Новомодные выдумки идут против собачьей природы и вразрез инстинкту. Природа говорит, что, когда господа кушают, — встань у стола и смотри. Зрелище это, вообще, само по себе, приятное, все в нем понятно и интересно. А допускаемые в этом деле господами

ошибки порою даже очень забавны. Например, отношение хозяина к куриным костям — прямо идиотское. Он преспокойно позволяет слуге подхватить их из-под носа и унести в кухню. Он, хозяин, который лает на слугу из-за всякой ерунды, в таком важном деле покорно и без борьбы уступает. Прямо, и смешно и досадно. Или вот еще, подадут на стол большущий кусок мяса, а он отковырнет маленький кусочек и треплет его по тарелке железными крючками. Ну, так и хочется гавкнуть ему — «пиль!» Хапай все. Будь, чорт тебя подери, естественным.

В старину благородная собака всегда допускалась к столу, когда хозяин питался. Он бросал ей куски, которые она ловила на лету и, проглотив, обнюхивала пол, чтобы это, туговатое на догадку существо, поняло, что пес не прочь получить еще кусочек и даже удивляется, что не находит его на полу.

Вот как вела себя в старину благородная собака.

Теперь выдумали воспитывать собаку так, чтобы она не обращала ни малейшего внимания на питающегося хозяина. Она делает вид, что ей это совершенно безразлично. Она даже отворачивается и рассматривает картины на стене. Что же она при этом думает? Может быть, думает:

— Эге! Тоже не любишь, чтобы тебе мешали лакать твою тюрю. Все мы таковы.

А тот пес, который, бывало, получал подачки, тот, конечно, проникался уважением к величию человеческого духа.

— Вот, — думал он, — ни один зверь не отдаст другому своего куска. Только человек на это способен.

Султан был пес старой школы и думал о человеке хорошо. По той же причине, то-есть потому, что был стар и много на своем веку перевидал, ко многому

относился, что называется, критически. Попросту — не одобрял. Так старые, зажившиеся в доме слуги — камердинеры, няньки — ворчат на господ. Любят, но не совсем одобряют.

Султан привык вздыхать, положив голову на вытянутые лапы. Если его окликнут, он не сразу побежит на зов. Ему лень. Он знает, что его просто потреплют по спине, и делу конец. Нет, чтобы угостить чем-нибудь, — на это не рассчитывай. Он из вежливости постукает хвостом по полу и, на всякий случай, подождет. Ведь если надумали что-нибудь дельное — бросить косточку или пряничек — так позовут и еще раз, а без толку с места скакать только дурака валять.

Султан много спит и, просыпаясь, зевает с визгом.

* * *

Второй собачий экземпляр — старуха Кики. Это такса самых благородных немецких кровей. Фигурой похожа на крокодила. Мордой, длинной, украшенной крупными бородавками, напоминает старую высокопоставленную девицу, что-нибудь вроде двоюродной тетки отставного принца. Она бегает вприпруску, стуча когтями. Она всегда серьезна и всегда уверена, что делает именно то, что нужно. Если бы она могла почеловечьи крутить лапами, она вязала бы что-нибудь очень некрасивое и непременно в пользу бедных.

Если она гуляет по двору и заметит, что мимо забора по дороге идет человек или, что еще оскорбительнее для собачьего достоинства, осмеливается бежать собака, — такса Кики отворачивается и делает вид, что это ее не касается. Она благородная комнатная собака, а не цепной пес. Сторожить — не ее обязанность. Ее саму должны сторожить и волноваться как бы ее не украли.

Старое сердце Султана совершенно не может вынести вида собаки, бегущей мимо его забора. Это такая наглость, которую снести совершенно невозможно. Хоть ему и лень, но, все-таки, несколько едких замечаний он должен отпустить по адресу этого незнакомого моветона.

Таксе все это совершенно безразлично.

Самого Султана она тоже почти не замечает.

* * *

Третий экземпляр — щенок Тремп.

Он не родственник ни Султану, ни таксе. Он сам по себе. Он волчьей породы. Он молод, силен, счастлив и удивлен. Он удивлен потому, что еще постигает земной мир, и каждый день приносит ему что-нибудь удивительное и новое. И во всем — радость.

Вот — самое для него обидное — хозяева пошли гулять, а его с собой не взяли. Он лает, скулит, визжит, бежит вдоль забора, бросается на забор. Уж, кажется, искреннее огорчение. Но в это огорчение входят слагаемыми ловкие, удачные прыжки, громкий, всегда приятный для горла, молодой лай, сознание своей удали и еще сознание, что проводив господ, можно будет немедленно приняться за разные щенячьи дела — грызть запрещенное молодое деревцо, копать яму под курятником, залезть с головой и даже с передними лапами в ведро с кухонными отбросами — все это вместе взятое, несмотря на обиду, дает в сумме радость.

А если его берут гулять, то это уже не просто радость — это бурный экстаз. Обнять весь мир раскинутыми лапами и, если мир не сразу оттолкнет,.— широко облизать его языком.

Вот лошадь везет воз. Конечно, нужно облаять ее, чтобы знала свое место и не болталась бы по дороге,

когда почтенная собака гуляет с господами. Но вместе с тем, хорошо тут же простить эту лошадь, попрыгать около нее и подружиться с ней. Вот бежит по шоссе трамвай. Два вагончика. Окна светятся. Что за чудесный зверь? Бежит, трещит, звенит. Что же это за зверь? Бежит по дороге, а не собака и не лошадь... Минута раздумья и — бешеный порыв — обнять этого невиданного зверя, бежать рядом с ним и лаять от радости бытия.

Он ничего не боится. Он смел и силен. Только раз в его короткой жизни вышел конфуз — он струсил. Положим, он тогда был еще очень молод.

Дело было летом. Его пустили побегать по двору. Собственно говоря, бегать ему не хотелось. Слишком много интересного находилось тут же, под самым его носом. Прежде всего — тряпка, чудесная коричневая шерстяная тряпка, которую можно было рвать зубами, таскать, трепать, лаять на нее. Потом нашлась пробка — штука, которую разгрызть невозможно, и при этом ужасно невкусная, может быть, даже злая. Ее следует хорошенько облаять и постараться вызвать на ссору. Может быть, тогда выяснится, что это за штука, и можно ли с нею дружить.

Но тут поднял Тремп голову и увидел нечто странное. Прямо против него стояло крошечное существо, вроде комка желтого пуха на тоненьких спичках. Носик у существа торчал вперед, не как у собак и лошадей, а скорее, как у хозяйки, только был очень тоненький и острый. Глазки у существа были, как бисеринки, и смотрели прямо на Тремпа.

Тремп уставился на него, и вдруг существо тоненько-тоненько запищало.

Этого Тремп никак не ожидал. Он попятился. А существо, все продолжая пищать, передвинуло свои

спичечки — пошло прямо на Тремпа. И тут дрогнуло смелое собачье сердце — Тремп взвизгнул и пустился бежать.

Долго потом дразнили его, что испугался цыпленка. Но он был слишком молод, чтобы понимать бестолковый человеческий лай.

Человек на всю жизнь остался для него загадкой.

Вот, например, входит в дом гость, для хозяев неприятный. Тремп это чувствует, ловит, понимает. Он лает. А хозяева, вместо того, чтобы залаять вместе с ним, усаживают неприятного гостя за стол и позволяют ему съесть их колбасу. А ведь собаку они же учат, что к хорошим надо ласкаться, а на дурных рычать и в дом их не пускать. Ну, как тут быть?

Тремп вечно лезет не туда, куда надо. Но ведь если не лезть, так никогда ничего и не узнаешь.

Вот пришла недавно к хозяйке чужая дама. Ни хорошая, ни дурная — никаких знаков для собаки от нее не было. Принесла с собой коробку. Вынула из коробки бутылочки, баночки, тряпочки, палочки. Ничего обнюхать не позволила, а взяла хозяйкину лапу и стала ей когти тереть. Тремп хотел заступиться, зарычал. А хозяйка, вместо того, чтобы поблагодарить, стала гнать его вон. Тремп отошел, но, конечно, из комнаты не ушел. Не ушел, потому что не знал, что будет дальше, и чем все это кончится. Если бы эта чужая щекотала хозяйке за ухом — все было бы понятно. Это делается для удовольствия. Но тереть когти... Что после этого бывает? Может быть, после этого дают собакам жареной телятины? Ничего неизвестно. Лучше подождать.

* * *

— Я считаю, что собака умнее среднего человека, — говорит Мэри и честно смотрит мне прямо в глаза.

— Мэри, дорогая, как же ты, в таком случае, решаешься делать замечания старой Кики?

— А что? Я не понимаю.

— Ведь ты же средний человек, Мэри, значит, Кики умнее тебя. Вот никогда бы не подумала!

Мэри краснеет.

— Тремп! Иси! — зовет она. — Посмотри только на эту морду. Сколько ума, сколько великодушия! Как всякий поступок у него полон смысла!

— Ай! — кричу я. — Отзови его скорее, он грызет мне чулки.

— Тремп! Ах, проклятая собака! Я не понимаю что с ним. Никогда этого не бывало.

– А отчего у тебя вся мебель в клочьях?

— Ну, это было прежде. Теперь он никогда ничего...

— Да убери ты его, ради Бога. С него блохи прыгают. Как ты не боишься?

— Ну, что ты говоришь! Наоборот. С меня на него. Тремп, пойди сюда, милая собака. Ты никогда ничего не грызешь, ты умный, ты замечательный пес. Они не верят, что ты не грызешь!

— Нет, Мэри, я уверена, что это ты сама изгрызла все кресла.

* * *

Утром просыпаюсь от тихого треска. Открываю глаза.

Посреди комнаты Тремп раздирает мою туфлю.

Дверь полуоткрыта, и в щель просунуты две морды. Сверху лохматая, подслеповатая — старого Султана, пониже, длинная, благовоспитанная и жеманная — королевской тетки с бородавками — таксы Кики.

Обе морды слегка осклаблены улыбкой и смотрят с умилением, как молодой дурак, не знающий приличий и условностей, расправляется с чужой собственностью.

— А ведь и мы были когда-то такими же юными энтузиастами! — говорят умиленные морды. — Эх, молодость-глупость!..

ВОСТОК И СЕВЕР

Три сказки

БЛЕДНЫЙ ПРИНЦ

У самой границы Южного Киндара, за горой Каратау, лежала страна Тамбеллик. Может быть, когда-нибудь звали эту страну иначе, но к тому времени, о котором мы говорим, известна она была под названием Тамбеллик, что значит— лень. И называли ее так недаром: таких лентяев, как тамбеллийцы, в целом свете днем с огнем не найдешь. Прямо ужас! Рваные, грязные, всегда голодные, целые дни валялись они на припеке либо болтались по базарной площади, где, между прочим, и товару-то никакого не было, только лавчонки с бараньими головами, кофейни да лотки синих бобов, которыми они все питались изо-дня в день.

А когда наступали холода, ползли они со всех сторон к городским баням. Оттуда выбрасывали банщики горячую золу. Вот лентяи и ложились прямо на землю, к ней поближе, чтобы погреться. Так и валялись по целым дням.

Раз один так близко улегся, что затлелось на нем платье, а откатиться подальше — лень. Он и стал кричать: «Ой, горю, горю!» А другой говорит: «Пожалуйста, кричи — горю с товарищем! Ты уж, все равно, кричишь, а мне лень».

Единственной радостью тамбеллийцев были петушиные бои. Тут они и лень забывали — целые дни сидели на корточках, дразнили своих петухов, раззадоривали в них злобу и удаль.

Правил этой ленивой страной в те поры молодой принц Кибирь-Лале. Имя это, красивое и пышное, означает Гордый Тюльпан. Но каков был этот гордый тюльпан, никто из тамбеллийцев понятия не имел, потому что никогда принц из дворца не выходил, а народу во дворце делать нечего. Знали только, что днем принц спит, а ночью гуляет по саду. А так как были тамбеллийцы, вроде русских, ленивы и не любопытны, то ничего и не разузнавали.

И вот как-то раз, в базарный день, принес кто-то на бой здоровенного петуха, такого злющего, что в разгаре драки клюнул он одного из зрителей прямо в глаз, перелетел через круг и подрал по площади — и летит и бежит, а весь базар с места сорвался — всех понесло петуха ловить.

Залетел петух прямо в дворцовые ворота, и все за ним. Там ведь, у лентяев-то этих, ни стражи, ничего. Влетел петух во двор, прямо к фонтану, и сел.

Смотрят тамбеллийцы — лежит у фонтана мальчик, бледный-бледный. Одежда на нем грязная парчевая, жемчуга на ней ободрались, на ниточках болтаются. На чалме у мальчика алмазная звезда, а в руке синий тюльпан.

Поднял голову мальчик, взглянул, удивился. Удивился и хлопнул в ладоши. Прибежал на зов визирь Памбук, старый, сонный. Цыкнул на народ:

— Вы чего тут делаете? Зачем принца беспокоите?

Поняли тамбеллийцы, что мальчик этот и есть Кибирь-Лале, повалились на колени, бородами пыль метут.

А принц на них удивляется.

— Отчего, Памбук, они такие безобразные? Отчего такие рваные?

— Они, — говорит Памбук, — очень бедные, и помочь им некому.

Побледнел принц еще больше.

— Я, — говорит, — им помогу. Я помогу, потому что это мой народ, и я должен его любить. Отдай им, Памбук, всю мою казну. Есть у меня казна?

— Нету казны, — отвечает Памбук.

Заплакал принц.

— Ну, так я им душу отдам. Пусть придут завтра утром, а ты приготовь сундук и поставь его в сад, и чтоб никто до утра в сад входить не смел.

Ну, конечно, Памбук удивился, но перечить не стал, только пошел у забора подслушивать. Слышал, как принц плакал и пел, и соловей ему отвечал. А больше ничего.

Прибежали утром тамбеллийцы — галдят, кричат, так и лезут. Вышел принц. Сам бледный, и тюльпан синий в руке.

— Памбук, — говорит принц, — прикажи принести сундук.

Пошел Памбук, думал — один поднимет. Ан, смотрит, — сундук за ночь тяжелый стал. Кликнул помощь. Потащили девять человек, еле сдвинули.

— Откройте, — говорит Кибирь-Лале, — здесь мои песни и слезы. Все вам.

Открыли сундук и ахнули. Полон сундук алмазов.

Загорланили, загомонили, скорее верблюдов нанимать, корабли фрахтовать, везти сокровища заграницу. А пока везут, пускай принц еще наплачет. Одним сундуком всю страну не оденешь и не накормишь.

Плакал и пел Кибирь-Лале семь ночей. И соловей

ему отвечал. На восьмую ночь улетел соловей, ничего не ответил, и сам принц уснул, и был к утру сундук пустой.

Засуетились тамбеллийцы, забегали, загалдели.

— Пропадать нам, что ли.

Послали заграницу, за лекарем. Приехал лекарь, велел дворец весь вычистить, а принца крепко говядиной кормить и молоком поить.

Стал принц есть, стал пить, сначала через силу, потом и сам заинтересовался, так и бежит в столовую. Народ даже забеспокоился.

— Этакая прорва. Так ведь и запасов нехватит.

И все спрашивают:

— Не запел ли? Не заплакал ли?

— Нет, не поет и не плачет.

— Я, — говорит, — теперь что-то утешился. Мне бы жениться самая пора.

Взволновались тамбеллийцы ужасно. Пробовали революцию делать и такой декрет сочинили, чтобы каждый гражданин обязан был по три часа в сутки плакать и петь, и соловей обязан ему отвечать. А алмазы все поровну.

Пока галдели да судили, прослышали об их непорядках соседи, кезканджики-завистливые. Пришли и завладели.

Принца Кибирь-Лале посадили в тюрьму. Он скоро умер, и тюльпан в его руке стал черным.

МАНТИЯ КОРОЛЯ АЛИКАНА

Была когда-то на свете роскошная царская мантия. Покрывала она плечи самого короля Аликана. Сначала, значит, плечи, а потом, как захворал Аликан, стал он

в нее ноги кутать. А когда умер король Аликан, начала королева оделять слуг королевскими обносками. И досталась мантия второму помощнику третьего виночерпия. Понес он ее домой и отдал жене. А жена переделала мантию на покрышку салопа. Носила, носила, подарила кумовой племяннице. А та, поносивши, отдала внучке. Внучка куски выбрала на кофту. Носила, носила, своей внучке подарила. Та немножко потрепала, отдала кухаркиной дочке. Кухаркина дочка — своей внучке. Та повертела — видит, дрянь, лохмотья линючие. Отдала нищему. Нищий из нее торбу смастерил, да потом, как удалось ему на базаре настоящий холщевый мешок стянуть, он эту, даренную-то, рвань и совсем бросил. Подобрал рвань старьевщик. Долго валялась она у него в темном углу, вместе с другой рухлядью. И вот пришел в лавку ученый человек. Порылся в хламе, стал рвань рассматривать, в лупу разглядывать.

— Откуда, — говорит, — у вас это?

Отвечает старьевщик:

— На улице нашел.

Заплатил ученый старьевщику несколько грошей, понес рвань к себе, все лампы зажег, всю ночь в лупу рассматривал, кислотой оттирал. А утром заблестели на рвани золотые ниточки, и прочел он затканный знак: «Мантия короля Аликана».

Висит теперь этот кусочек старой тряпки в европейском музее — под стеклом, под замком, и отдельный сторож к нему приставлен, чтобы не украли и в Америку не продали.

Изучают профессора по этой тряпке аликанов быт и культуру. Каждая ниточка в ней, в этой тряпке, важна и драгоценна. Поэты о ней стихи пишут. И кто на нее ни посмотрит, всякий разное видит. Одному кажется,

что заткана она огнями, другому — будто лилиями, а третий ясно видит змею и дракона. И все правы, потому что каждый видит то, что может, и каждому хочется понять и узнать тайное.

Ученый, нашедший эту чудесную реликвию, прославился, а старьевщик, узнав, что продешевил товар, с горя повесился. Так ему и надо. Должен был знать, что у людей высокого происхождения есть знак, и пусть самый последний нищий бросит такую вещь за ненадобностью, цена ей, незнаемая и скрытая, — вечна.

БАБА-ЯГА

Сказки рассказывают:

«Баба-Яга, костяная нога, в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает».

Учитель словесности говорил:

«Баба-Яга — богиня вьюг и метелей».

В детских книжках изображалась Баба-Яга худой, дикой старухой, с зелеными злыми глазами, изо рта клык торчит, волосы седые космами. Страшная, костлявая — у-у-у, и детей ест.

Слово «богиня» вызывало представление о красоте — Венера, Диана. Мы видели их статуи, образцы совершенства. Мы слышали выражение «хороша, как богиня». И вдруг эта лютая ведьма, злющая, уродливая старуха — наша богиня. Было это нелепо и смешно.

Да по правде говоря, кто из наших древних богов был красив? Лель, бог весны. Но он какой-то непопулярный и в народной памяти не сохранился.

Сохранились, приобретя ругательное значение, домовой, леший да Баба-Яга.

Домовой — суровое чудище, хоть и охранял домашний быт, но похож был на старого крепостника-помещика, буянил, шумел, дурил на конюшне — лошадей мучил, щипал девок до синяков. Справедливый был, но жуткий и самодур. Захочу — полюблю, а не захочу — со свету сживу.

Леший —о нем и упоминать страшно. Ухал в лесу, пугал, заводил в непроходимую чащу, запутывал, ни одного доброго дела за ним не числилось. Злющий был. Ему бы только запугать, сбить с пути, погубить человека и следы бурьяном заплести.

Хороша была только русалка. Но только ее одну и видели люди, потому что заманивала она на погибель — красотой и нежностью. Она душу брала жалостью. Сидит на дереве женщина, маленькая—она, собственно, и не женщина, потому что у нее с половины тела рыбий хвост. Поэтому сидит она низко над водой и хвост этот в водоросли прячет. Сидит маленькая, нежная, робкая и горько- горько плачет. Просто бы сидела или манила — иной бы и не подошел. А если плачет — как тут не подойти. Жалко ведь. Жалостью и потянет. Эта богиня очень была опасная.

Но Баба-Яга, самая из них лютая, самая и интересная. И самая она русская. У других народов таких богинь не было.

Жила Баба-Яга на опушке леса, в избушке на курьих ножках, без окон, без дверей. Дверь, как потом всегда выяснялось, все-таки, была, но повернута к лесу, так что проныра «добрый молодец», вызнавший откуда-то заклинание, говорил: «Избушка, избушка, повернись ко мне лицом, к лесу задом». И избушка поворачивалась.

Жила Баба-Яга одна. С нею только кот. Полного одиночества даже Яга вынести не могла. Держала кота за мурлыкание, за мягкую шерстку, за тепло и котовий уют. Людей Яга ненавидела и никогда их не искала. Они сами шли к ней выпытывать разные мудрые тайны и всегда Ягу надували. В каждом человечьем приближении чувствовала она обман и обиду.

«Русским духом пахнет» — жди беды.

Придет такой добрый молодец, наврет, наобещает, все, что ему нужно выпытает, обманет и удерет. Ни благодарности, ни честной расплаты не жди.

И каждый раз, как услышит она заклинание, и повернется избушка на своих курьих ножках, ждет Яга беды неминучей. И каждый раз верит она сдуру в человеческую душу:

— Быть не может, чтобы уж все так.

Вот приходит бедная девочка-сиротка. Мачеха выгнала ее, мачеха на верную смерть послала. Знает Яга — человечий щенок, хоть и маленький, хоть и бедненький, а уж лукавый, с хитрецой, с гребешком, с полотенчиком и с куском сальца. Даст сальца коту, он и изменит. Тот самый мурлыка-кот, тепленький, мягонький, ягиный льстец и ласкатель, — он тоже изменник. И ворота скрипучие изменят, если их маслицем подмажут. Всюду измена. Ску-у-учно Яге.

Сидит злая, клык точит.

— Съесть бы их всех. Да хитрые, не дадутся. Придут, ягиной мудрости поклонятся, наврут, надуют и всегда-то, всегда унесут ноги.

Кот изменник, ворота нечестные выпустили хитрую девчонку-заморыша. Бросилась Яга в погоню. А девчонка кинула наземь гребешок, и вырос дремучий лес. Стала Яга грызть деревья, пробилась через чащу. А девчонка кинула полотенце, и потекла по долине ши-

рокая река. Стала Яга пить, реку выпивать, а девчонка уж далеко, не поймаешь. И все ягины тайны, что выпытала, унесла, подлая, с собой.

И вот сидит Яга в своей избушке на курьих ножках. Уперлась в лес носом. Ску-у-у-учно. Скорей бы зима.

Весна — первое тревожное начало. Природа веселится, звери и люди любятся, нарожают хитрых детенышей — беда. Потом лето, жара. Шипит лес, кипит в горячем воздухе. Сделал свое дело. Разбросал семена, раздул по ветру. Доволен. Дурак лес. Старый дурак. Любит жизнь, бессмертие земли.

Настанет осень. Выпадет первый снежок. Повеселеет Яга.

И вот, наконец, зима.

Задуют ветры. Стрибога внуки — это свои, свирепые, злющие. Заметет пурга дороги, закрутит вьюга хрустальную пыль, запоет, завоет метель. Пора!

Садится Яга в ступу, пестом погоняет. Застучала ступа по кочкам, скачет, отскакивает, взмывает, взлетает в снежном вихре. Волосы у Яги разметаны ледяными прядями, острые костяные колени торчат. Страшная, могучая, вольная, летит вьюжной песней над землей.

Кто видел ее? Как видят Валькирию рыцари, умирающие на поле сражения, так видят Ягу замерзающие, уже закрытыми глазами.

Выскочит Яга из ступы, запоет, запляшет, ухватит гибкую молодую березку, и крутит, и вертит, и гнет, и ломает, только стон кругом идет, да разлетается снежная пыль серебряным дымом. Кинется на соломенное чучело, которым завертывают на зиму розовые кусты. Обхватит и запляшет, разгульная, пьяная, треплет его, валит.

— Пусти меня, — молит чучело, — не мучь! Я тебя не хочу! У меня в груди роза.

Завоет Яга, заплачет, закружится, бешеная, злая. И снова рыщет по полям, по долам — кого бы замучить.

Вот путник. Вылез из саней, ищет дорогу. Ага! Закружила его, повалила в сугроб, замела ему глаза снегом.

Куда он ехал? К какой-нибудь Машеньке, миленькой, тепленькой, веселенькой. На что она ему? Он теперь белый-белый, ресницы, брови седые, из-под шапки заледенели белые кудри. Как чудесно, как вольно поет метель! Завораживает... Машенька? Что она! Пестрая тряпка на заборе. Можно ли ее вспомнить? Зеленые хрустальные глаза глядят ему в душу — так страшно и радостно, и поет и смеется душа. И никогда ведь, никогда в жизни не знала она такого восторга.

Баба-Яга! Старая, страшная! Людоедка проклятая! Ах, какая же ты чудесная, певучая, хрустальноокая! БО-ГИ-НЯ. Бери меня в твою смерть — она лучше жизни.

Стихла метель. Темно, тепло в избушке на курьих ножках. В углу стоит метла, перемигивается со ступой. Сонно мурлычит неверный кот, выгибает спину, притворяется.

На печи лежит Баба-Яга. С ледяных волос капает вода на пол. Торчит из-под тряпок костяная нога.

Ску-у-учно.

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

Встречаются в жизни маленькие, быстрые впечатления — картинки, сценки, типы, разговоры.

По писательской привычке, думается: вот это стоит запомнить. Когда-нибудь пригодится, как деталь, как мелочь в большой вещи, когда, по закону ассоциации, всплывает в памяти впечатление. Но не всегда такие впечатления пригодятся. И вот подумалось мне, что, может быть, они имеют некое право на самостоятельное существование. Может быть, можно отдать их другим душам так же просто, как приняла их моя душа.

1

ОТЧАЯНИЕ

Я сегодня вплела в свою косу
Первый раз серебристую прядь.
Анна Ахматова.

Утро. На лакированном столике, в хрустальном бокале, стоит вчерашняя роза.

Она вчерашняя, но еще свежая, только низко опустила голову. Два зеленых листика вытянулись на стебле у самого цветка, словно широко раскинутые руки.

Что-то странное в этой розе. Эта опущенная голова, эти раскинутые руки, точно она нагнулась и внимательно рассматривает что-то на столе. Что-то там удивило и испугало ее.

Да. На столе, у самого бокала, лежал розовый лепесток. Первый лепесток, опавший от ее пышного, роскошного и радостного существа. Начало смерти.

Сколько невыразимой грусти в этой странной картинке. Откуда она? Кто ее придумал? Кто так художественно скомпановал?

Случай.

Случай, зачем ты показал мне это прекрасное, это нечеловеческое отчаяние?

Ну, что я могу!

2

КРАСОТА

Это было давно. В Петербурге. Я ехала в трамвае. Рядом со мной сидел какой-то мальчик, лет семи. Это был простой мальчик, плохонько одетый. Был на нем застиранный, вылинялый ситцевый костюмчик, в полоску—синюю и белую. На коленках были наштукованы большие заплаты — из того же матерьяла, только нового. Очевидно, лоскутки были припрятаны вот именно на такой случай. Продерутся рукава либо штанишки, вот и будет чем залатать. Было, конечно, пребезобразно, ну, да ведь на мальчишку не напастись.

Мальчик долго рассматривал эти яркие заплатки, гладил их рукой, наклонял голову на-бок, наконец, вытянул ноги, чтобы виднее было, и застыл в созерцании.

И вдруг неожиданно обернулся ко мне и сдавленным от восторга голосом сказал:

— Как красиво!

Сказал и тотчас испугался. Заговорил с чужой барыней. Что же это? Ведь заговори с ним на улице такая, он бы от страха стрекача дал. А тут сам.

Но я поняла, что он не владел собой, что красота этих заплат так охватила его душу, так переполнила ее восторгом, что он не мог не поделиться этим восторгом, все равно, с кем. Этот возглас, это «как красиво» перелилось через край. Не может человеческая душа выдержать такого могучего подъема и не воскликнуть и не поискать, скорее-скорее, отклика, поддержки. Это — как стон от боли, который сам в себе бессознательно ищет помощи.

И я помогла.

— Да, это ужасно красиво, — серьезно и спокойно сказала я.

3

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Войска входили в город. В Париж.

Ничего торжественного не было. Ехали вереницей камионы и на них солдаты. Но так как эти солдаты были враги, немцы, то и грохот камионов казался особенно громко-гремучим грохотом.

По тротуарам шли две старушонки в черных платьях, похожие друг на друга. Только одна была повыше и шагала пошире, а ноги у обеих были одинаковые,

старушечьи, вроде кочерги, без икры, без подъема, без каблуков, и пальцы заворачивались кверху. И, конечно, в черных чулках.

Шли они по своим мирным делам, поворачивали головы с опаской — боялись автомобиля. Хоть и пусто на улице, а вдруг выскочит. Высокая старуха была, как будто, значительнее маленькой. Она говорила, а маленькая только поддакивала головой.

И вот загрохотали камионы. Прохожие остановились, смотрят. Девчонки подталкивают друг друга локтями, хихикают: — Des beaux gars, les vaches!

Старушонки остановились, растерянно потоптались на месте и вдруг, скоро-скоро, побежали к большой пустой стене. Повернулись к ней лицом и распустили зонтики. Большие, черные, дешевые, ластиковые зонтики закрыли их. Видны только ножки-кочережки. И так и застыли. Только тот зонтик, что пониже, чуть-чуть дрожал. А тот, что выше, не шелохнулся. А войска проезжали мимо и входили в город.

У маленькой старушонки, наверное, колотилось сердце. Ведь это была демонстрация. Как хотите, а это была непредусмотренная властями демонстрация. Ведь маленькая старушка чувствовала, что она совершает героический поступок. Ведь злые немцы — кто знает, как отнесутся к их развернутым зонтикам? — «Ага», скажут, «они не хотят нас видеть, так выколем же им глаза». Зонтик дрожит, но она не закроет его. Та, большая, стоит недвижно, она рождена героиней, рождена вот для этого момента, когда она идет одна против целой Германии и ведет за собой сестру. И сестра с ней. Пусть дрожит ее зонтик — она достоит до конца.

Чудесная демонстрация!

Я счастлива, что видела ее.

4

МИСТЕРИЯ

На полустанке поезд останавливался всего на две минуты. И уже, наверное, одна минута успела пройти, когда я увидела нашего сумасшедшего художника. Он, какой-то растерянный, топтался на платформе. Одновременно увидел и он меня и кинулся к моему окну.

— Скорее, скорее, выходите! — умоляюще крикнул он.

— Не могу, я еду к знакомым, на дачу.

— Ах, какой все это вздор! Непременно выходите. Скорее, скорее! Боже мой. Это страшно важно.

Я ничего не понимала, но его волнение удивило меня. Все равно — подумала — поеду со следующим поездом.

— Это такое чудо, — задыхался он, — вот увидите. Вот в этом лесочке.

— Да в чем же дело?

— Не спрашивайте. Это нельзя рассказать. Все равно, не поймете. А если увидите, может быть, и поймете. Господи! Должны же люди понимать! Это здесь, в лесу. Идем.

Он был бледный. Впрочем, он и всегда был бледный. Некрасивый, вроде белой обезьяны. Нос сплюснутый, сам большой, костистый. Картины рисовал странные. Называл их музыкой будущего. Помню, была у него «Черная Мадонна» — одноглазая, без рта и вся лилового цвета.

— Почему же она называется черной, когда она лиловая?

— Потому что чернокожие должны представлять себе Мадонну лиловой.

Он как-то рисовал мой портрет. Взял свой альбом, стал водить по листу пальцем, мысленно набрасывая мой профиль. Оторвал лист, бросил, стал мысленно набрасывать на другом. Оторвал, бросил. Потом третий, четвертый.

— Отчего вы не набрасываете на том же самом листе?

Он удивился моей бестолковости.

— Как же я могу? Я же вижу то, что я набросал. Получился бы один рисунок на другом.

Мне надоело сидеть. Я ушла. Вернулась. Он смотрел на пустое место в кресле, где я прежде сидела, и продолжал свои наброски.

— А ведь я уходила, — сказала я.

— Это ничего. Я же продолжаю вас видеть.

Из портрета вышла музыка будущего.

И вот этот самый художник, взволнованный, с дрожащими губами, тащит меня в лес смотреть на какое-то чудо.

Мы пошли по тропинке, вышли на маленькую, круглую полянку и остановились.

— Смотрите, — шепнул он. — Видите? Господи! Да неужели и вы не умеете видеть?

Я повернулась, посмотрела, ничего не увидела.

— Смотрите, — шептал он. — Сосны встали кругом. Старые сосны, седые, мудрые. А в середине, в самом центре, маленькая, стройная, зеленая елочка. А сосны ровным кругом стоят, стерегут. Что же это за елочка? Почему ей такой почет и поклонение? Кто поставил ее в средину круга? Одну. Кому-то известна судьба ее. Ведь то пречистое древо, легендарные частички которого берегутся в храмах и ладанках, тоже было чьей-то волей посеяно, посажено, неведомо охраняемо. Что мы знаем? Какому искуплению, какой правде рас-

пятой послужит и это странное, чудесное древо. Разве вы не...

Он вдруг остановился. Я обернулась к нему, у него глаза были совсем безумные.

— Смотри же, смотри! — закричал он. — Молчи, о, молчи, глупая! Смотри! Го-о-осподи!

Я взглянула на елочку.

Прямые лучи полуденного солнца жарко звенели над ней. И что-то отделилось от ее вершины, что-то заблестело малой, бледной блесточкой, засверкало, засияло и стало подыматься в свете все выше, выше.

— Пчела? Шмель?

— Это ее молитва. Ее слава к небу подымается, — шептал художник. — Мистерия! Мистерия!

Он опустился на колени и сложил руки. И все стало, как в храме.

Мудрые, старые сосны, стоящие ритуальным кругом, и, как раз в центре, эта ровная, зеленая, елочка, острым конусом вся устремленная вверх, и над ней, прямой линией подымающаяся к небу в золотом воздухе полдня, неведомая, живая, светящаяся точка.

— Тихое древо! — шептал сумасшедший. — Тихое древо! Покрой мя твоею благодатию.

5

ПРОБЛЕСК

«Не говори: Отчего это прежние дни были лучше теперешних? — Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом».

Так говорит Экклезиаст, гл. 7, 10.

Конечно, он прав. Не против соломоновской мудрости восставать нам.

Времена сейчас, наверное, не хуже библейских, только сами мы не те. Утонченные столькими веками цивилизации, не так просто воспринимаем мы ужасы жизни. За это время много изменился наш душевный быт. За это время приходил к нам Христос.

Наши дни нехорошие, больные и злобные, а чтобы говорить о них, нужно быть или проповедником, или человеком, которого столкнули с шестого этажа, и он, в последнем ужасе, перепутав все слова, орет на лету благим матом: «Да здравствует жизнь!»

На страницах наших газет — смертная казнь, смертная казнь, смертная казнь. Это стало нашим бытом. Так жить нехорошо.

Мы точно в стране кошмарных снов, где в воздухе точно сгустился:

«Неотзвучавший плач,
Где каждый десятый жертва,
И каждый двадцатый палач.»

И каким удивительным и благословенным чудом мелькнули в газетах неожиданные страницы о розысках затерявшихся в снегах пассажиров упавшего авиона.

Всего двенадцать человек было их. И сотни людей отправились, рискуя жизнью, спасать их. И много тысяч следили с волнением за этой экспедицией. Повеяло чем-то прежним, почти забытым. Человеческая жизнь еще имеет цену. Оказывается, что мы, привыкшие к вестям о гибели целых армий, целых городов, еще можем волноваться судьбою двенадцати безвестных пассажиров.

Но это светлое впечатление быстро потускнело, словно сбежала легкая пена со страницы газеты, и снова отчетливо и ясно: «смертная казнь, смертная казнь, смертная казнь».

Но ничего. Все проходит, и это пройдет. Может быть, потом осудят нас и нашу эпоху, а, может быть — кто знает? — вздохнут и скажут: «А все-таки, им, счастливцам, жилось лучше, чем нам».

Отойдем от Экклезиаста. Закроем на несколько минут глаза и вспомним.

Вспомним милое, простое, забавное. Хорошо? Пусть наивно и просто отдохнет душа на этих незатейливых картинках со страниц старой, истрепанной, забытой книжки.

6

НИЩИЙ

Имение наше, в котором прошло мое детство, было в Волынской губернии, богатой, черноземной. Крестьян бедных там совсем не бывало. А уж нищих и подавно.

Вот это-то последнее, казалось бы, очень счастливое обстоятельство, чрезвычайно огорчало богомольных старух. Деревенские к этому привыкли, а вот наши старые слуги — нянюшка, ключница, старшая горничная и судомойка — часто роптали, что, мол, как так, — в церковь идешь, а на паперти ни одного нищего, и некому копеечку подать. Ну, как старухе душу спасти без милостыньки. Как-то неладно выходило. Вспоминалось, как в Москве задушевным говорком просили: «Подайте, милостивцы». Перекреститься, подать три копейки — оно и не жалко, а душе на пользу.

Однако, и для этих скорбных старух в Волынской глуши приходило утешение. Приходило оно раз в год, первого октября, в Покров. Это был храмовой празд-

ник нашего села, и в этот день, раз в году, появлялся нищий. Такого нищего нигде, нигде и никогда, мы не видывали ни до этого, ни после. Особенный был нищий.

Приезжал он в крытой бричке, на паре сытых лошадок, правил кучеренок. Одет нищий был тепло и даже со вкусом — какой-то цветной платочек закутывал его шею.

Человек он был еще не старый, лет, может быть, пятидесяти, широкий, крепкий, с аккуратной бородкой, деловитый и озабоченный. У него было что-то с ногами, — не то паралич, не то просто ревматизм, — словом, что-то мешало ему ходить и работать.

Старухи наши домашние и разные деревенские бабки обступали бричку, умиленно крестились на нищего, причитающими голосами называли его болезным и несчастненьким и тащили ему целые ковриги хлеба, горлачи со сметаной, ощипанных кур, куски сала, надрезанные, из благочестия, крестом, всякие сверточки и ленточки, холсты и подушки.

Нищий все принимал деловито, хлопотливо утыкивая добро в свою бричку, и ругал кучеренка за неповоротливость.

Уложившись, снимал шапку, крестился и смотрел — не идет ли еще кто, не несет ли еще чего.

— Эй! швидше, ворона! Чи до вечора тебе чекать!

И, прикрикнув на кучеренка, отъезжал до будущего года.

И на будущий год старухи готовились к Покрову. Шили нищему рубаху, собирали перья на подушку.

И вот как-то раз, все было уже заготовлено, и вдруг, почти накануне праздника, объявил дьячок ужасную новость. Нищий женился и больше не будет ездить.

Все так и ахнули. Как же теперь?

— Ну, ездил бы с женой.

— Посадил бы жену дома. Пусть ребят досматривает. Нельзя же так.

Думали даже на нищего кому-то жаловаться, да только не знали, кому. Да и как, тоже не знали. На то ли, что женился — так ведь он имел право. На то ли, чего ездить перестал, так тоже такого закона нет, чтобы непременно езди.

Так все и осталось. Покачали головами да и забыли.

На доброе у человека память коротка.

7

ГОРДОСТЬ

А эта картинка уж из Новгородской губернии. С родного севера.

Ходили к нам работать на огороде две бабы из соседней деревни Острачи. Федосья Ерохина и Авдотья Макаренко. Бабы эти друг на дружку похожи не были. Ерохина худая, длинная, нос большой, щербатый, уродлива — дальше некуда, дальше уж прямо чорт. Характером мрачная.

Макаренко — пухлая, курносая и все не то улыбается, не то щерится, как злая кошка.

И было в этих несхожих личностях что-то непонятно общее, какая-то, смешно сказать, надменность.

Ерохина, разговаривая, поворачивалась в профиль. Макаренко задирала нос и дерзко «лепортовала».

В общем — ничего не скажешь, бабы гордые и цену себе знали.

И чем же это они гордились? Обе бедные, несостоятельные, на поденку не ходили. Обе некрасивые, у обеих мужья пьяницы, ребята голые. В чем тут дело?

Насчет гордости — у меня, между прочим, уже были кое-какие наблюдения и удивительные находки. Помню — один захудалый чиновник с радостной гордостью рассказывал про своего двоюродного брата, такого богатого и знатного, что его, захудалого чиновника, и на порог к себе не пускал.

Вот чем гордился. И ведь как гордился! Прямо захлебывался. А уж куда бы, казалось, обиднее, если тебя, за твою ничтожность, родственники в шею гонят.

Гордость двух новгородских баб, однако, выяснилась. И была она у них диаметрально противоположная.

— Мы, Макаренки, — задрав нос, рассказывала както Авдотья, — мы все злющие, потому что мы из хохлов. Хохлы все злющие. Мы не тутошние. Мы даже на тутошних не похожи вовсе. Мы злющие.

Вот оно что. Гордость в том, что они нетутошние и — как подтверждение нетутошности — злющие.

А Ерохина сказала:

— Мы самые здешние, спокон веку тут. Еще когда только три избы стояло, так уж мы тут жили. И деревню-то по нашему имени называют. Вот как!

— Как так по вашему имени? Ведь тебе-то имя Ерохина!

— Ну, да. Ерохины мы.

— А деревню зовут Острачи. Так как же?

Она недоуменно раскрыла рот.

— А? Разве не похоже?

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие I
Трагедия 1
Преступник 8
Была война 16
В Америку 24
Этапы 32
Кишмиш 39
Где-то в тылу 47
«Нигде» 54
Обыкновенная история 61
И времени не стало 68
Воля твоя 85
Слепая 104
Типы прошлого 112
Старинка 145
Моя Испания 158
Три жизни 184
Тетя Зета 214
Летом 221
Семейная поездка 228
Научное 236
Воля 243
Собаки 251
Восток и север (три сказки):
- Бледный принц 259
- Мантия короля Аликана 262
- Баба-Яга 264

Маленькие рассказы:
- Отчаяние 269
- Красота 270
- Демонстрация 271
- Мистерия 273
- Проблеск 275
- Нищий 277
- Гордость 279

Цена $2.00